

**Академик И. П. Бардин**

**Жизнь инженера**

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

*ГЛАВА I*

Великий Щепкин, крепостной раб и гений русской сцены, рассказывает о своих воспоминаниях о том, какое впечатление произвело на него его первое посещение театра. Он был тогда еще мальчиком — в театре шла какая-то волшебная сказка. Трепет и оцепенение охватили его, и, точно прикованный к своему стулу, сидел он, не спуская глаз со сцены во время всего представления. «С той минуты, — рассказывает Щепкин, - я увидел свое будущее».

Была у меня мечта стать металлургом.

Мне было двадцать семь лет, когда я впервые увидел металлургический завод. Он поразил меня. Металлургия захватила все мое существо.

Но путь, которым я шел к металлургии был чрезвычайно извилист и запутан.

Совершенно отчетливо в моей памяти вырисовывается одряхлевший, покосившийся домик у заброшенного пруда на самой окраине села. Мой дед, волостной старшина, часто, сидя на завалинке, мечтал о приобретении пары лошадей, коровенки и нескольких десятин земли. Вспоминаю и своего отца, озорного драчуна, забияку, вечно мятущегося, беспокойного и предприимчивого человека.

То были девятые годы прошлого века. В отсталой, полуголодной и деревянной России об инженерстве никто ничего толком не знал. Мы были сельскими жителями, знали своих помещиков, лесничих, управляющих имениями приказчиков. Мы видели, как хорошо они жили, как разъезжали на своих откормленных сытых лошадях, и эта привольная жизнь помещиков и их лакеев вызвала тихую зависть моей малосостоятельной семьи. Мои родные мечтали о том, что я стану агрономом или землемером и таким образом достигну обеспеченного положения.

Поэтому я и должен был стать землемером.

Помню, как я отправлялся в город на экзамен и с каким волнением я входил в гимназию. Боязливо и тревожно смотрел я на веселых детей барчуков, круглолицых и самоуверенных.

Но перед сыном сельского портного двери гимназии оставались закрытыми.

— Вам нет смысла учить мальчишку, — объяснил директор гимназии моей оробевшей матери. — Вам следует учить своих детей ремеслу. А для гимназии у вас все равно денег не хватит.

В тот же год я поступил в Александровское ремесленное училище. Учились там главным образом приютские мальчуганы. Ученики содержались за счет городского управления — получали даровую пищу и каждую осень грубые, пахнувшие дегтем яловые сапоги. Науки преподавались простейшие: три часа мы ежедневно зубрили арифметику, учили геометрию и шесть часов отработывали у верстаков. Мальчуганы с лихвой возмещали затраченные на них «отцами города» гроши.

В ремесленном училище я пробыл всего год. Моя тетушка, сельская учительница, идейная народница, не хотела, чтобы я стал слесарем. Она потребовала от моих родных перевести меня в земледельческое училище, в случае же их несогласия она лишала их всякой материальной помощи. Угроза была слишком серьезной, чтобы можно было не исполнить желание тетушки.

С тяжелым сердцем я неохотно покидал ремесленное училище. Я любил его за

особый, царивший в нем терпкий запах гари, машинного масла и металлической стружки. Там было много паровых котлов, машин, всяких хороших металлических вещичек, которые мне очень нравились и будили во мне непонятный трепет. Тяжело мне было расставаться и с хорошими ребятами, моими товарищами.

Сельскохозяйственное училище, в которое я поступил, оказалось очень хорошим. Состав преподавателей был замечательный, и некоторым из них я до сих пор благодарен. Никогда не забуду математика Зенкевича, очень строгого по внешности человека, но чрезвычайно внимательно и чутко относившегося к ученикам. Он обучал нас с любовью, и ребята слушали его с захватывающим интересом. На всю жизнь он пробудил во мне любовь к математике и к точным наукам.

В школе я проучился шесть лет, и передо мной открылась перспектива помощника ученого управителя имения. Школа не давала нам права поступать в высшие учебные заведения, и по окончании курса мы становились слугами помещика, умеющими управлять его хозяйством.

Мечта моих родственников как будто осуществлялась. Но меня такая будущность не радовала.

Другой, неведомый мне мир манил меня. Мне мерещился большой город, часто я вспоминал ремесленное училище, машины. Я стремился учиться дальше, грезил университетом. Учиться, во что бы то ни стало учиться!

Я решил попытаться поступить в университет. Но поступить я мог только в ветеринарный институт, что совсем меня не привлекало. Поэтому я решил поступить в Александрьевский сельскохозяйственный институт.

Весь год я готовился к экзамену. Мне повезло, меня приняли в институт. Казалось, осуществилась наконец моя несбыточная мечта. Но прошел год, и я очутился за порогом института. Меня исключили на год. В числе других студентов я осмелился протестовать против одной пошлой и черносотенной постановки в Люблинском театре. Но постановка нравилась начальству и жандармам, и мне пришлось уйти из института.

Через год, когда я возвратился в студенческую семью, я с грустью понял, что Александрьевский институт, который даст мне звание лесничего или агронома, мне не по душе. Хотелось быть инженером. Я начал искать возможности перейти в Киевский университет.

Моя семья, мечтавшая о том, что я буду управляющим имением, воспротивилась моим планам.

Но я хотел избрать себе специальность по душе и не мог считаться с желанием своих родственников. Преодолев все препятствия, я в конце концов поступил в Киевский политехнический институт.

Однажды я попал на лекцию к металлургу Ижевскому. Он не был оратором, но с первых же лекций захватил меня.

Этот скромный, простой старик хорошо, задушевно и вдохновенно преподавал, что волей-неволей овладел вниманием студентов. Профессор Ижевский оказался в высшей степени интересным человеком. Он не был инженером, а человеком чистой науки, прекрасным преподавателем и замечательным металлургом.

— Доменный процесс, — говорил он, — это сказочно красиво. Это неслыханно тяжелое, но мудрое и радостное превращение бесформенной породы и руды в металл. Когда-нибудь, — мечтал Ижевский, — в России будут построены сотни мощных доменных печей.

Ижевский так любил металлургический процесс, что верил: наступит когда-нибудь такое время, когда русская страна станет родиной чугуна и стали.

Когда Ижевский замечал, что студент начинает посещать его лекции и серьезно ими интересуется, он старался ближе подойти к нему. Ижевский был прекрасной души человек. Студенты всегда материально нуждались. За право учения надо было платить пятьдесят рублей каждое полугодие, и это было для многих студентов тяжело. С каким страхом ждал я

каждый раз наступления срока платежа за право учения. Голова шла у меня кругом, и я не знал, что предпринять. Ижевский получал записки студентов и отлично знал степень нужды каждого из нас. Однажды он сообщил мне, что через два дня меня исключат из института за невзнос платы. Краснея и волнуясь, я объяснил Ижевскому, что затруднения у меня временные:

— Самое позднее через десять дней я соберу нужную сумму и уплачу за свое учение. А пока, — сказал я запинаясь, — эти десять дней я не буду посещать ваши лекции.

Ижевский запротестовал. Он сказал мне, что лекции я могу посещать, и, дружески похлопав меня по плечу, расстался со мной. В тот же день он внес плату за мое учение из своих скудных средств. Он сделал это, зная меня всего полгода.

Понятно, что чуткость и человечность Ижевокого меня сразу подкупили. Я полюбил его как замечательного ученого и кристально-чистого, бескорыстного человека.

Ижевский сделался моим наставником и другом. Счастливая встреча с ним подсказала мне мое будущее.

Молодое поколение революции растет в атмосфере любви, пестуемое нежнейшими заботами о нем со стороны государства. Это счастливое поколение молодых людей, которым мужественные отцы проторили путь к свободной и радостной жизни без ужасов и мерзостей эксплуатации человека человеком. Безусые молодые люди нашего времени свободно выбирают себе профессию стратонавтов и инженеров, врачей и химиков, артистов и ученых, агрономов и мореплавателей, — это поколение только смутно или совсем не представляет себе, как неслыханно тяжело было в старое время неимущему человеку пробираться к высотам знания.

Счастливые молодые граждане моей родины! В нашей стране перед вами широко раскрыты двери школ и вузов.

Вы не заботитесь о завтрашнем дне, чистом, как хрусталь, и ясном, как безоблачное голубое небо. Вы свободно и воодушевленно впитываете в себя знания, чтобы возвратить их потом родине, чтобы разгадать великие тайны природы и обратить их на пользу нашей любимой стране.

Но вы не знаете, как горько было раньше бедняку-бессребренику в обстановке звериной конкуренции, в алчной атмосфере злобы и ненависти.

Я окончил Киевский политехнический институт по химическому отделению инаивно грезил, что вот я инженер и теперь предо мной широко и гостеприимно раскрыты двери в жизнь.

Но розовые мечты юноши развеивались в лихорадочной и звериной борьбе за существование. Мои мечты безжалостно разбивались. При первом же столкновении с правопорядком, основанном на социальном неравенстве, моя воля, как хрупкая тростинка, никла и надламывалась.

Далеко не так легко было найти работу такому человеку, как я, без роду и племени, без связей и влиятельных друзей.

— Ну, вот, Иван Павлович, надо вас устраивать, — грустно говаривал старик Ижевский, мой друг и учитель.

Он пытался устроить меня на завод, но это оказалось делом нелегким. Заводы делились тогда на две группы: русские с преобладавшими в них русскими капиталами и иностранные заводы. На иностранные заводы поступить не иностранцу было совершенно невозможно. Зарубежные капиталисты ревностно охраняли тайны своего производства. Они были мало заинтересованы в том, чтобы русские специалисты проникли в секреты их производственного искусства. Иностранцы не вступали даже с русскими инженерами в переговоры и на работу их не принимали. Только как чернорабочий вы могли попасть на иностранный завод. Иностранные металлургические заводы в России были запрещенной зоной для русских мастеров и инженеров.

Что касается русских заводов, то на Брянский принимали только горных инженеров,

на Каменский же исключительно поляков. Таково было нерушимое и строгое размежевание.

Видя мои неудачи, старик Ижевский страдал.

— Устраивайтесь чертежником, — говорил он. — Повременим немного, может быть, все переменится.

Но чертил я неважно, да и не было у меня к этому занятию никакого тяготения. Но Ижевский всячески подбадривал меня.

— У меня идея, — говорил он: — давайте я устрою вас профессорским стипендиатом. Вы хорошо окончили курс, и это легко удастся сделать. Такая возможность определить одного студента у меня имеется. Вы будете получать пятьдесят рублей в месяц и сможете заниматься своим любимым делом. Возможно, что и за границу отправят.

На лето я уехал в деревню к родным. Осенью Ижевский огорченно сообщил мне:

— Увы, не назначили вас стипендиатом, Иван Павлович. — И он, досадливо махнув рукой, отвернулся от меня.

Профессорскую стипендию дали родственнику губернатора. Но что же делать? Неужели я получил диплом только для того, чтобы мучительно искать себе работу?

Мне надо было срочно чем-нибудь заняться. Но чем, чем заняться, когда передо мной вставала глухая стена безразличия, когда на работу по специальности я устроиться не мог?

У Ижевского созрел новый план:

— Поезжайте на Брянский завод и проведите там опыты с электропечью.

Электропечь была сконструирована Ижевским, и я с большой охотой поехал в Бежицу на Брянский завод проводить опыты. Но с первой и до последней минуты работы на Брянском заводе я был предоставлен самому себе. Меня окружали люди, которые следили за мной завистливыми и ненавидящими глазами. Решительно никто не хотел мне помочь. Без чьей бы то ни было помощи я сам провел весь монтаж печи. Инженеры и мастера завода смотрели на мою работу, как на ненужную затею, а в глубине души завидовали мне. Вокруг меня создался какой-то молчаливый враждебный сговор. Конечно все это не предвещало удачи. Опытную плавку я сделал, но посадил козла. Разразился скандал, и меня с треском выставили с завода.

Надо было ехать куда-нибудь, но куда, к кому я мог обратиться за помощью? К Ижевскому? Мне было стыдно.

Я стучался в двери одного, другого, третьего завода, но всюду получал отказ. По своей специальности металлурга я не мог найти себе работу.

Надо было что-нибудь предпринять, надо было жить. Я попытался использовать свою прежнюю агрономическую специальность и послал несколько запросов. Меня пригласили в Екатеринослав на организацию сельскохозяйственной выставки в американский подотдел.

Моей обязанностью было объяснять публике, посещавшей выставку, конструкцию американских сельскохозяйственных машин, сопровождать посетителей по павильонам, объяснять им значение различных знаков и показывать устройство скотных дворов. За это мне платили сто двадцать пять рублей в месяц, что вполне могло меня прокормить, но зато я терял свою специальность металлурга.

Какие нечеловеческие трудности, какие унижения я терпел для того, чтобы стать инженером-металлургом. С великими муками я порвал цепи, тянувшие меня к земле. Я не хотел быть ни агрономом, ни землемером, я стал инженером-металлургом. Неужели же только для того, чтобы вернуться к разбитому корыту и бросить любимую специальность?

Выставку в Екатеринославе организовал представитель екатеринославского земства в Америке, русский эмигрант Розен. Он имел вид типичного американца. Мы познакомились. Розен присматривался ко мне и, узнав, что я инженер-дипломник, спросил:

— Что вы намерены делать, когда закроется выставка?

Я пожал плечами.

— Поезжайте в Америку, — посоветовал Розен. — Я могу устроить вас там на работу. В Америке вы найдете себе место.

Розен вручил мне свою визитную карточку: «Город Молин, Стейт Иллинойс, Дир-

Компани».

— Если вы будете в Америке, воспользуйтесь обязательно моей карточкой.

Америка! Чужой, неведомый мне мир. Это где-то далеко за океаном, куда много дней идут пароходы. Америка — край чудовищной техники, машин, самых передовых, технически вооруженных предприятий. Это было волнующе и загадочно.

Родина отвернулась от меня, и я с надеждой подумал об Америке.

Я поехал посоветоваться с Ижевским. Старик сначала запротестовал:

— Незачем вам ехать в такую даль, незачем.

Но я настаивал, я решительно доказывал, что здесь мне не на что надеяться и я должен уехать.

Ижевский был подавлен: все попытки его помочь мне устроиться терпели неудачу.

— Ну что же, поезжайте с богом, — проговорил он наконец, вздыхая. — Только, право, может быть, все-таки останетесь? — Последние слова Ижевский произнес уже менее уверенно.

Я стал лихорадочно готовиться к отъезду в далекую и счастливую Америку, страну свобод, хлеба и счастья. С обидным и жестоким чувством разочарования я покидал свою родину, где протекало мое детство, где проходила юность, — родину, растоптавшую все мои иллюзии и надежды.

## ГЛАВА II

Я ехал на огромном океанском пароходе. Корабль, разрезая исполинской грудью яростные слепые валы, нес в своем чреве два мира: мир рабов и мир повелителей.

Мир рабов располагался в нижних палубах — ямах, подле грохота машин, у самого трюма, у пекла адских топков. Повыше, ближе к солнцу и воздуху, располагался огороженный и недоступный мир повелителей. То было символическое и резкое размежевание человеческой судьбы и счастья.

Страна демократических свобод и хлеба не пускала к себе бедняков, которые могли щегольнуть только своими тощими и дырявыми карманами.

— Вы приехали в Америку, покажите сколько у вас денег.

Я показал свои двадцать долларов, и мне разрешили сойти на берег. Я очутился на американской земле.

Нью-Йорк. Город-остров, город ослепительных контрастов, сумасшедшего богатства и потрясающей нищеты. Еще на корабле, до того, как вы сходите на берег, вас встречает величественный памятник Свободе, с вздымающимся высоко в небо ярким факелом. Не заблуждайтесь. Освободитесь от ваших иллюзий. Как только вы вступили на американскую землю, ваша свобода стоит ровно столько, сколько стоит пачка двадцатидолларовых ассигнаций в вашем кармане.

Растерянный и ошеломленный, бродил я по Нью-Йорку. Каменные громады, стиснутые между отвесных скал домов, душили меня. Меня угнетала нескончаемая человеческая толпа, ее тупое равнодушие. Какой-то суровый, загадочный мир, мир холодный и безразличный. Людская волна подхватила и понесла меня по лабиринтам, улицам, то втискивая в туннели, то вынося на мосты, а я, повинувшись ее могучему течению, без сопротивления куда-то шел и шел.

Вот я очутился перед сорокадевятиэтажной громадой. «Зингер». Компания «Зингер». Что-то очень знакомое. Когда-то я помогал отцу продавать машины, они назывались «Зингер». Я стоял удивленный. Значит, отсюда, из этого громадного дома расходились машины по всему миру, попадая даже в захолустную саратовскую деревню.

Я долго любовался Бруклинским мостом — первым в мире подвесным мостом, взметнувшимся над восточной рекой.

Я увидел фешенебельную улицу богачей Пятое Авеню, улицу роскошных магазинов и

пышных витрин. На углу Брод-стрит и Уол-стрит меня поразил отделанный мрамором фасад роскошного здания. Мне хотелось рассмотреть его как следует, и я остановился перед зданием. Вероятно, я обратил на себя внимание, потому что ко мне подошел вежливый и важный полисмен и приказал не задерживаться. Это был мраморный дворец Джона Пирпойнта Моргана — истинного хозяина и повелителя города.

Повсюду на улицах висели огромные рекламные плакаты, освещенные электричеством, изображавшие девушек, жующих резиновую жвачку.

Я зашел в дешевый бар, там мне сунули тарелку, я, двигаясь в очереди, подходил к столикам, мою тарелку молча заполняли, и, как все в баре, я, быстро съев свою порцию, молча расплатился и ушел.

Олл райт! Я был на американской земле.

Несколько дней я бродил по гигантскому городу, в удивлении глядя на него. Когда у меня осталось денег только на проезд в Молин и еще два запасных доллара для завтрака и обеда, я решил двинуться дальше.

Моей единственной крупной покупкой в Нью-Йорке была покупка бритвы. Очень дешевая бритва. В то время я ценил только дешевые вещи!

В Молине я должен был найти Розена, и его визитную карточку, на которую я возлагал столько надежд, я хранил в кармане на груди.

В Молин я приехал ночью. Это был небольшой городишко, в то время доотказа набитый маклерами, торговцами, посредниками. Они приезжали туда покупать сельскохозяйственные машины. С трудом я нашел койку, за которую заплатил последний доллар.

На следующий день с визитной карточкой Розена я отправился в Дир-Компани, завод сельскохозяйственных машин, наниматься на работу.

Меня ни о чем не расспрашивали. Только ощупали мышцы и руки и приняли на работу. Тут же без всяких проволочек табельщик вручил мне 603-номер и отправил в сборочный отдел на сборку культиваторов.

Работа была простая, но очень тяжелая. Работать приходилось десять часов в сутки, оплата была сдельная. Ежедневно я должен был заклепать двести рычагов для культиваторов. На каждом рычаге восемь-десять заклепок. Без привычки эта работа была нечеловечески трудной. Так интенсивно физически я никогда еще не работал. Сплошь рядом, несмотря на перчатки, я разрезал себе руки до костей.

Мне сообщили, что на заводе есть русские. В тот же день я познакомился с ними. Среди них было много бывших рабочих Путиловского завода, участников революции 1905 года, бежавших от репрессий царских палачей. Надо сказать, что к русским в Америке тогда относились подозрительно. В Америке никто не нарушал вашего права свободы изъясняться на любом языке. Но если разговаривали по-русски, вас все же сторонились. Поэтому русские держались всегда вместе и жили единой семьей.

К своим новым товарищам, тесно спаянным друг с другом, я начал ходить запросто. Зарабатывали мы сравнительно немного. В день я получал один доллар и пять центов. Поэтому мы большей частью вечером сидели дома и вели нескончаемые беседы о милой сердцу, но жестокой родине.

Вскоре я заметил, что общение только с русскими товарищами мало способствует изучению чужого языка. В конце концов я поселился отдельно и стал брать уроки английского языка.

Через два месяца сократилась работа в сборочном отделении. Понемногу нас стали увольнять, и мне пришлось расстаться с моими друзьями. Меня спасла рекомендация Розена, благодаря которой меня перевели в кузницу помощником кузнеца.

Ковали мы пневматическим и электрическим молотами. Работал я здесь меньше — восемь часов, но работа была чрезвычайно тяжелая. Зато заработок был в кузнице лучше. Здесь я уже зарабатывал три доллара и пять центов в день.

Первые несколько месяцев, пока я осваивался в чужой стране, работа в Дир-Компани

меня устраивала. Но вскоре та работа мне наскучила, и я решил перебраться куда-нибудь на другой завод. К этому времени у меня уже образовался небольшой запас в шестьдесят-семьдесят долларов. Я распростился со своими заводскими товарищами и тронулся в путь.

Розен и тут мне помог. Он дал мне рекомендательное письмо на завод Харт-Парр, собиравший тракторы. Завод находился в небольшом городишке Чарл-Сити, насчитывавшем до шести тысяч жителей. Завод славился своими тракторами, надежной конструкцией тяжеловесов и исключительным качеством работы. Механизация на заводе была несложная, конвейеров тогда не было, но общая организация работ поражала своей точностью, четкостью и простотой.

По сравнению с Дир-Компани масштабы производства Харт-Парра были незначительными. Харт-Парр выпускал четыре трактора в сутки. Сборка каждого трактора — сто часов. Ни часом больше. Весьма оригинально использовались выпускаемые тракторы, как движущая сила, дающая энергию заводу. Харт-Парр не имел своей электростанции. Четыре трактора, которые ежедневно выводили из сборки, ставились на горячее испытание. Восемь тракторов работали на динамомашину, и все они приводили в движение весь завод. Таким образом тракторы заменяли Харт-Парру электростанцию.

Продукция Харт-Парра славилась тогда своей безупречностью. Это неудивительно. На заводе был самый тщательный контроль и проверка всех деталей. Ни один трактор не выпускался из цеха, пока сам начальник не проверил его работу и не затянул последний болт.

Все же, как мне ни нравился завод Харт-Парр, меня тянуло заняться любимым делом: попасть на металлургическое производство.

К этому времени Ижевский опять напомнил о себе. Старик прислал мне официальное письмо и заверенный диплом, в котором указывалось, что я инженер, окончивший институт. Ижевский наивно просил Америку оказывать мне содействие. Я обрадовался этой неусыпной заботе обо мне со стороны Ижевского. Надеюсь, что диплом окажет мне серьезную услугу, я расстался с Харт-Парром и отправился в Чикаго, где, я слышал, находился самый мощный в мире новый металлургический гигант-завод Гери.

Но в Чикаго мне не повезло. В глухом и безразличном к человеческой судьбе городе я сразу не мог найти себе не только работу, но даже жилище. У меня было слишком мало денег, и каждый день, который я проводил без работы в Чикаго, истощал мои скудные средства.

Мое положение становилось тяжелым. Я побывал на заводах в Висконте со своей институтской бумажкой, присланной мне Ижевским. Американцы принимали меня сухо и в работе отказывали. Диплом русского инженера не производил на них благоприятного впечатления.

Наконец я узнал, что в Чикаго есть улица, которая населена русскими и что там можно найти очень дешевую комнату.

Я направился туда. После долгих поисков мне удалось снять угол у какого-то галицийского еврея. Это был грязный чулан, где, кроме меня, нашли себе приют полчища голодных и злых клопов. Но этот чулан принадлежал мне. Я жил в нем один и мог, растянувшись на топчане во весь свой длинный рост, часами лежать на спине, и, закинув руки за голову, размышлять о незавидной участи бедняков на этой прекрасной земле.

Проходили дни за днями в бесцельных поисках работы. Подымаясь по утрам со своего бредового, кишевшего клопами, ложа, я уходил позавтракать в дешевом баре стаканом черного кофе с хлебом, а затем отправлялся в город предлагать покупателям свои мозолистые руки. Они ценились тогда не слишком дорого, огрубевшие руки пролетария.

Америка — страна, где человек не должен падать духом, иначе он погиб. Как бы тяжело ни было его положение, как бы печально ни складывалась его судьба, он должен всегда на что-то надеяться, к чему-то стремиться. Я был однажды свидетелем, как опрокинувшаяся многопудовая плита придавила человека, сплющив его ступни. Ноги были

навсегда потеряны. Но человек пытался приподнять плиту. Он надеялся освободиться от страшной тяжести, раздавившей всю его жизнь, и бодро зашагать на своих теперь уже мертвых кровавых лепешках.

Жизнь давила меня стопудовой чугунной лапой, но я надеялся и ждал.

...Два раза в неделю я ездил наниматься на металлургический завод Гери, в те дни, когда там шел набор рабочей силы. Рано утром я подходил к воротам завода. Здесь уже томились в ожидании толпы людей. Итальянцы, болгары, евреи, поляки, негры французы, китайцы, русские — здесь можно было встретить неимущих представителей всех народов и рас, пришедших к этим воротам продавать капиталистическому Молоху своиреки, свой труд. Обычно мы простаивали у ворот с утра до вечера.

Иногда появлялся вачман — наборщик рабочей силы. Обычно это был высокий, краснощекий ирландец. Ирландцев охотно брали в Америке на полицейскую службу. Наш вачман был здоровяк с тяжелой нижней челюстью, громовой глоткой и увесистыми кулаками. Он осматривал людей, точно лошадиный барышник коней.

— Кто может пойти шлаковщиком? — кричал он, раскрывая пасть. — А ну-ка, пойдика сюда. Иди, иди, что ты там поворачиваешься, как тюлень.

Если вачман видел, что вы слишком слабы и для работы шлаковщика, онкричал:

— Но гуд, — и отстранял вас своими здоровыми кулачищами.

В таких случаях ему надо было незаметно всунуть в руку два-три доллара и тогда, сменяя гнев на милость, он кричал:

— Вери гуд, вери гуд.

Лениво он спрашивал вас, кто вы такой, откуда родом и давно ли в Америке. Затем вас отводил в будочку, где сидел врач.

— Раскройте-ка ваши глаза, — говорил сердито эскулап, похожий, впрочем, больше на мясника, чем на доктора.

Он щупал ноги, грудь, смотрел в рот, заставлял размахивать руками, стучал по позвоночнику и старательно искал какие-нибудь дефекты. Впрочем, и тут не мешала сообразительность, и каких-нибудь три-пять долларов превращали вас в глазах этого эскулапа в совершенно здорового человека, если даже вы были хромым. После получения трех долларов мой врач осведомился, как зовут мою мать. Об отце врач не спрашивал, потому что не у всех найдутся отцы, а без матери ни один человек, приезжающий в Америку, не родится. Все ваши ответы тщательно записывались, и наконец перед вами открывали ворота завода.

Меня приняли в прокатный цех, вручив № 13331. Через десять минут после приемки я уже работал.

Что представлял собой, тогда Гери, этот первый в мире механизированный металлургический гигант?

Гери переживал тогда такой же период, как и мы в первые годы строительства наших гигантов. Пятый год шло сооружение колоссального завода Гери. В нем было много незаконченного и недостроенного. Завод и строился и работал. Здание заводоуправления имело такой же казарменный вид, как и на наших новостройках. Города, как мы привыкли его понимать, не было. Расположенный на берегу живописного озера Мичиган городишко около завода возник наспех рядом с новым большим строительством. Всюду кругом была развороченная земля, лежал строительный мусор, дороги в рытвинах и ямах покрывала невылазная грязь. За городом тянулись песчаные дюны. Везде песок, лозняк и болота.

Первая, центральная улица — Бродвей — только возникала. На ней воздвигались веселые и затейливые коттеджи для заводской аристократии, общественные здания, наспех разбивались скверики, газоны, появлялась зелень, улица покрывалась асфальтом. А рядом, в сорока-пятидесяти метрах от центральной улицы, чернели землянки, но здесь они назывались не землянками, а шанты, что, впрочем одно и то же. То были наспех сколоченные коробки из кусочков толя и досок, обнесенных землей, только в одной стене прорезана была узкая щель окна. Вот и готово жилище. Удобств, понятно, никаких: ни освещения, ни

водопровода, зато классические выгребные ямы — уборные.

То, что я увидел на заводе Гери, было совсем непохоже на все виденное мною до сих пор в Америке и в России.

Непревзойденный даже теперь, спустя двадцать пять лет, по своим размерам, завод Гери был спроектирован на двадцать доменных печей. В то время когда я был принят на работу, в ходу были уже пять домен. Пятьдесят шесть семидесятипятитонных мартеновских печей плавил высокосортную сталь. Огромная прокатка грандиозных размеров. Завод Гери поражал не только своими масштабами и необыкновенной механизацией, он подкупал также и хорошим расположением цехов и рациональной расстановкой в них оборудования.

В первый же вечер работы завод порастил меня незнакомыми механизмами. Диковинные краны, о которых я не имел никакого представления, казались живыми ползучими чудовищами. Теперь эта техника уже устарела. Она совершенно ясна и понятна, как движение колеса. Но тогда я оторопело смотрел на всю эту грандиозную машинерию, где механизм заменяли сотни человеческих рук.

В то время Гери переживал сложный период освоения. Так же, как перед нами теперь, перед ним остро стояла тогда эта проблема. Люди работали у малоизвестных механизмов, учились, доискивались постигнуть и освоить сложные законы, управляющие внутренней сущностью этих механизмов.

Я работал на прокатке. Угрожающе урча, гидравлический кран хватал кремовую болванку и осторожно клал ее на тележку. Тележка подкатывала болванку к рольгангам. С этого момента начиналась моя роль. Я подходил к болванке на расстоянии полутора-двух метров, выбрасывал вперед металлический лом, и, вонзаясь им в жирное горячее тело, заставлял болванку правильно лечь концами на валы.

Работа эта не требовала большого ума и особой силы. Но работа изнуряющая и неприятная. Болванка обдавала меня невыносимым жаром, от которого трескалась кожа лица и рук.

После того как болванка правильно ложилась на рольганг, вальки уносили ее к стану. Болванка с яростью набрасывалась на обжимный стан. Огромные вальцы начинали ее мять, тискать и жать. Вначале грозная, несокрушимая и опасная, болванка постепенно становилась податливее, вытягиваясь в длину, утрачивала пыл, делаясь все более более покорной. На моей обязанности лежало также чистить окалину. Чрезвычайно неприятная работа. Мне приходилось подлезать под стан в душную угарную яму и оттуда выгребать дымящуюся металлическую шелуху.

На прокатке я проработал недолго, так как вскоре меня стали перебрасывать с места на место. Я уже оттаскивал концы рельс. Большими тяжелыми клещами я переносил многопудовые концы стали. Я любил работать по ночам. Ночью дышалось легче, было прохладнее — с озера Мичиган дул свежий ветер. Днем же было невыносимо жарко работать около этого металлического пекла. Зарабатывал я два доллара двадцать четыре цента в сутки. При моей нетребовательности к пище мне этого вполне хватало. За вычетом квартирной платы мне даже оставалась кое-какая мелочь на черный день.

На прокатке я познакомился с несколькими русскими рабочими. Так же, как и я, они были заняты переноской рельсов. Видя, что я еще новичок в Америке, они вначале корчили из себя иностранцев, смешно коверкая русский язык. В Америке обычно, когда встречаются три иностранца, они стараются говорить на таком языке, который никому из них не понятен. Так вначале повелось и в нашей компании. Нас было четверо: я — саратовец, мои новые русские товарищи — черниговские мужики — и один негр, который вначале относился к нам троим весьма пренебрежительно. Но в конце концов мы очень подружились, по всей вероятности потому, что с одинаковым трудом зарабатывали свой хлеб. И хотя мы и говорили на разных языках, все же мы хорошо понимали друг друга.

Работали мы очень много и сильно уставали. В Америке вы работаете восемь-десять часов, но с таким напряжением, что чувствуешь себя вечером точно выжатая мочалка. После восьми часов труда вы в состоянии только лежать, как пласт. Свободные дни мы проводили

в Чикаго. Всего дешевле было останавливаться в домах Армии спасения. Стоило это десять центов в сутки. За это нас кормили кофе и душевспасительными беседами. Целый день мы бродили по городу, бесплатно купались в озере, а вечером возвращались ночевать в дом Армии спасения. Здесь мы обязаны были полчаса перед сном прослушать душевспасительную беседу какого-нибудь дурака. И все это за десять центов!

Но я ездил в Чикаго не только гулять по городу. Я бывал на многих заводах и осматривал цеха разных промышленных предприятий.

К своей работе на заводе Гери я относился с большим рвением, отдавая ей все свои силы. Работая, я очень суетился и поэтому еще больше уставал. Черниговские товарищи подтрунивали надо мной.

Через пять месяцев я получил повышение. Меня перевели на сборку и наладку валков на рельсопрокатке. Пришлось расстаться со своими друзьями. У валков я попал в другую среду. Там работали южные славяне, хорваты — люди беспокойные, отчаянные. С ними было очень трудно ладить. Они и между собой очень часто ссорились.

Крупное капиталистическое хозяйство Америки развивалось неравномерно, вскоре на Гери начались довольно скверные времена. С каждым днем заказы уменьшались, и завод стал жить случайной работой. Вместо рельсов рельсовый стан начал катать какие-то новые заготовки. Сотнями и тысячами людей стали выбрасывать на улицу. И первую голову русских и итальянских рабочих. Но мне посчастливилось, я остался на заводе.

Новые заготовки надо было брать прямо с рольганга, скидывать их на пол, на полу завязывать цепями, а потом тащить к крану. Работа была исключительно тяжелая, и ее, как физически наиболее сильному человеку поручили мне. Почему-то эта работа считалась повышением. Вероятно, потому, что я стал получать за нее на двадцать центов больше прежнего.

Работа была адская. Пот катился меня ручьями. Изнемогая от жары, я выпивал ежедневно десятки литров воды. Я не знал золотого правила, что работающему в горячих цехах, как бы хотелось ему пить, пить не следует. Опытные рабочие полощут рот водой, но никогда не пьют ее в моменты мой острой жажды, потому что это жестоко отражается на сердце.

Я утолял жажду и день за днем в течение шести месяцев наживал сердечный порок. Я много потел. Часто меня охватывала страшная слабость. Иногда мне казалось, что мое сердце переставало биться. Я страшно задыхался во время работы и чувствовал, что с каждым днем теряю последние силы. Пришлось обратиться к врачу.

В Америке люди не ведают друг другу жалости. «Помогай сам себе» - такова американская поговорка, звериная заповедь капитализма. Вы можете в изнеможении упасть на работе, никто не придет вам на помощь. В Америке гораздо легче на тяжелой изнурительной работе нажить себе порок сердца, чем вылечить его. В Америке лечат только за деньги. Рабочему, понятно, лечиться почти невозможно.

У меня была сэкономлена сотня долларов, и поэтому я пошел к врачу. Он прописал мне лекарства и отдых. Но мне нельзя было отдыхать, мне надо было работать. Я работал и принимал лекарства. Они мне конечно мало помогали.

Однажды доктор сказал мне, что долго на своей работе я не протяну. Кстати, на уплату врачу у меня осталось всего несколько долларов.

Я серьезно задумался: что делать? Бросать работу? Но это было невозможно. Ведь уйти с завода значило остаться без работы, без средств к существованию.

Было над чем призадуматься. Я отправился в Чикаго к своим черниговским товарищам искать утешения и совета. Они посоветовали бросить работу.

- Нечего сказать, хорош совет, не Морган же я в самом деле.

- Мы тебя немного поддержим, — отзывчиво предлагали товарищи. — Не умирать же тебе в самом деле.

Я решил попытать счастья и обратился к администрации цеха с просьбой перевести меня на другую, более легкую работу.

- Значит, вы устали? — спросил меня начальник цеха.
- Да, очень. У меня болезнь сердца, мне хотелось бы получить работу полегче.
- Нам больные и усталые люди не нужны, — сухо и кратко сообщил мне начальник.—

Можете идти.

- Я хотел бы вам еще заметить, что я инженер и мог бы...
- Хорошо, хорошо, я подумаю.

В тот же день меня уволили. Я был уволен, я устал, задыхался, и заводу я больше был не нужен.

Это была Америка богачей.

Полтора года назад я приехал в эту страну здоровым молодым человеком. Среди своих товарищей я был самый сильный. Мы соревновались, кто дальше кинет рельсу, и я всегда побеждал. Молох выжал из меня все жизненные соки и вышвырнул на улицу, как ненужную ветошь.

Но я плохо знал жизнь и, когда нужно, огрызаться не умел. Я не возражал и не сопротивлялся. Это было бы все равно бесполезно. Я покорно подставлял свою шею под удары судьбы. У меня не хватало умения и сил самому управлять своей судьбой.

Итак, я опять безработный. Видно, одни и те же буржуазные капиталистические законы управляли и Старым и Новым Светом. На своей шкуре я чувствовал их жестокость, но изменить эти законы я был не в силах.

Мои товарищи собрали мне немного денег, и я уехал в Питсбург. Недели две я провел в Питсбурге и, не найдя там для себя ничего утешительного, отправился в Нью-Йорк. В этом чудовищном городе я прожил месяц. Мне предлагали работу маплера, носильщика, чертежника, чернорабочего, продавца. Мое инженерство никого не интересовало.

Ничего не поделаешь! Но все же надо было что-то предпринять. Но что предпринять? Как мне ни было горько, но согласиться быть маклером или продавцом в галантерейном магазине я не мог. Поневоле я вспомнил о своей родине. Теперь я знал американцев. Я увидел и понял, как живут и работают люди в Америке. Я уже имел представление об американской промышленности и вплотную узнал металлургию, самую передовую и самую мощную металлургию в мире.

Для русского инженера-металлурга это давало очень много. В этом было мое единственное утешение.

Надо было уезжать из Америки, этой счастливой страны свобод и хлеба, страны сумасшедшего богатства и потрясающей нищеты, страны дорогих машин и дешевых человеческих жизней.

### *ГЛАВА III*

Россию я покидал с отчаянием и надеждой на то, что в Америке жизнь моя сложится совсем по-иному. Но и за океаном мне пришлось не сладко. И там, ведя скитальческую жизнь, я все время боролся за кусок хлеба. Потерпев жестокое крушение в Америке, я в подавленном настроении возвращался на родину. Меня конечно тянуло обратно в родные края. Но в глубине души я лелеял раньше тщеславную мечту возвратиться в Россию настоящим инженером, обогащенным опытом и знаниями, накопленными в стране передовой металлургической техники, возвратиться специалистом, которого ищут и называют наперебой. На самом же деле что ожидало меня на родине?..

Хотя это стоило чуть подороже, но я решил поехать на английском пароходе, потому что язык я уже знал и меня привлекала дорога через Ливерпуль и Лондон.

Англия мне очень понравилась. Англичане показались гораздо более приветливыми, чем черствые и надменные американцы. В Лондоне, если вы заговаривали на улице с незнакомыми людьми, вам всегда охотно отвечали на каждый вопрос. В Англии не

относились с таким пренебрежением к иностранцам, как в Америке.

Пробыв две недели в Лондоне, я отправился в Россию через Нидерланды и Германию. В дороге со мной случилась крупная неприятность; я потерял все свои деньги. Пришлось основательно засесть в Берлине. Я не знал, что предпринять, и после долгих колебаний решил все-таки обратиться за помощью к моему старому отзывчивому другу профессору Ижевскому. На мое счастье, в Берлине в это время находился его товарищ Дунаев, известный русский инженер и талантливый изобретатель. Старик Ижевский сообщил мне, что инженер Дунаев даст мне займы сотню марок.

Я не могу передать то состояние смятения, в котором я по приезде в Киев отправился к Ижевскому. Я чувствовал себя, как проигравшийся игрок, и не знал, как встретит меня мой старый учитель. Но, увидев меня, старик радостно пошел мне навстречу и заключил меня в свои отцовские объятия.

— Ну вот, батенька, значит, домой вас потянуло? Дайте на себя посмотреть. Рассказывайте, странник, рассказывайте, что видели в чужих краях?

Был вечер. Зима. За окном выл ветер. Мы сидели в кабинете у Ижевского. На столе стоял давно уже остывший чай. Понурился, я тихо рассказывал об Америке, об американской технике, о заводе Гери, обо всех своих злоключениях и неудачах, которые преследовали меня и за океаном.

Ижевский сочувственно слушал и молчал. Когда я окончил свой рассказ, старик отвел от меня глаза в сторону со вздохом вымолвил:

— Да, нехорошо с вами получилось. Нехорошо! А я, знаете, думал, что Иван Павлович, вернетесь в Россию в другом виде. Ну, как бы это сказать, более уверенным в себе инженером что ли...

Ни я, ни Ижевский тогда не поняли, что мое пребывание в Америке имело большое значение для меня. Вначале мне показалось, что я не вынес никакой пользы для себя из пребывания за океаном. Впоследствии же я понял, в Америке я ознакомился с крупным механизированным металлургическим производством, новыми мартеновскими доменными и прокатными цехами, увидел там совершенно новый механизированный металлургический процесс. Америка расширила мой технический горизонт, дала мне знания, как вести крупное заводское хозяйство, как по-новому, правильно организовать производство машиностроительных и тракторных заводов. И в этом отношении завод Гери был для меня замечательной школой.

Бывая в дни отдыха на крупнейших производствах Чикаго и Нью-Йорка, я вынес оттуда много наблюдений, оказавшихся впоследствии чрезвычайно полезными для меня.

Но в тот вечер, когда после долгой разлуки мы беседовали об Америке с Ижевским, мы оба этого не понимали.

- Жаль, не послушали старика, — вздыхал Ижевский. — Поехали в далекую страну, а вот выходит, что проиграли.

- Ну, а здесь, Василий Павлович, — возражал я, — чего добился бы я здесь? Только надоедал бы вам постоянно просьбами устраивать меня на работу. Разве не так?

Ижевский досадливо махнул рукой:

- Да чего там, право!

Этот разговор напомнил мне однако о том, что надо было искать работы.

- Хотите у меня в институте? — предложил Ижевский.

Но меня тянуло в цех, и я попросил Ижевского помочь мне устроиться на производство.

- Хорошо, я напишу письмо кое-кому из знакомых.

С письмом Ижевского я отправился к директору Юзовского завода Свицыну. На заводе было неопределенное положение. Свицын был директором, при нем английский директор, а при английском директоре английский механик и русский механик. Юридически Свицын являлся директором завода, фактически же ему связывали руки английские капиталисты — хозяева завода. Поэтому Свицын не мог самостоятельно принимать людей на

ответственную работу. Вначале Свицын предложил мне быть переводчиком, но я отказался, сославшись на плохое знание языка.

- Ну, что же с вами делать, — сказал, подумав, Свицын, — идите тогда в техническое бюро на чертежную работу. Я осведомился:

- А в цех нельзя?

- Нельзя.

Бюро, так бюро. Выбирать мне было не из чего. Либо взять ту работу, какую предлагали, либо поступить на место, не имеющее никакого отношения к моей специальности.

Таким образом и начал я чертить у Соболевского в прокатной группе, хотя не по специальности, но все же в области металлургии. Соболевский был очень знающим инженером, у которого можно было научиться многому. Но Соболевский был настолько скромным и забытым человеком, что, при всей личной к нему симпатии, хотелось работать под началом более бодрого, более смелого и сильного человека. Я чувствовал потребность в общении с людьми сильного характера, у которых я бы мог заимствовать недостающие мне черты независимости, смелости и воли. В прокатной группе чертежников у Соболевского работали люди в большинстве скромные, будничные и молчаливые, люди без фантазии и широких запросов.

Мы работали в большом зале, уставленном множеством столов, за которыми, не разгибая спины по семь-десять часов в сутки, корпели с рейсфедерами и линейками в руках молчаливые серые люди, отчаявшиеся стать чем-нибудь иным, кроме рядовых чертежников. Это была очень скучная и недалекая публика, обычно часто встречающаяся в старой среде средней технической интеллигенции.

Но был один уголок в этой комнате, откуда веяло свежим, сильным, сокрушительным ветром. То была группа чертежников-доменщиков, повидимому, очень спаянная, ото всех обособленная, состоявшая из крепких и бодрых молодых людей со смелыми и насмешливыми глазами.

Часто к ним в бюро приходил человек среднего роста, с рыжей бородкой и надвинутой на голову капелюхой. Быстрым, упругим шагом направлялся он к группе чертежников-доменщиков. По тому, как его встречали, как внимательно слушали, ясно чувствовалось, что этот человек занимал особое положение в этой группе. Приход этого незнакомца вносил всегда большое оживление, и беседа чертежников-доменщиков становилась все громче и громче.

— Надо покончить с ручной нагрузкой, — доносилось до меня из угла доменщиков.— Катали подходят к самому жерлу колошников, откуда пышет пламя, обжигает людей, калечит их.

— Нужны американские бункера, — басил незнакомый мне человек.

Долетали до меня и отрывки фраз, содержавшие жестокую и едкую критику устаревшей практики доменного процесса, который существовал в России. Эти смелые люди никого не боялись и никого не щадили. Они обрушивались на застывшие производственные традиции, не считались с почтенными именами ученых, которых мы, молодые металлурги, почитали как божества. Мы, например, полагали, что Жензян и профессор Липине, написавшие книги о металлургии, — люди весьма авторитетные. Но для этих молодых людей из группы доменщиков, казалось, не существует никаких авторитетов. Они ни с кем не считались и свергали старых богов безжалостно и смело.

— Старик ничего не знает. Он дурак в металлургии. Он пишет о том, чего никогда не видел. Он отстал на двести лет, — так говорил об одном почтенном профессоре человек с рыжей бородкой и с капелюхой на голове.

Группа доменщиков заинтересовывала меня все больше и больше. Меня будоражили, волновали их свежие мысли об отсталости русской металлургии и нравилась смелая дерзость, с которой они обрушивались на эту отсталость. Мне хотелось познакомиться с ними ближе и, по возможности, войти в их круг.

Но больше всего меня заинтересовала личность человека с рыжей бородкой.

- Это Курако, — объяснил мне Соболевский, многозначительно подняв указательный палец.

История металлургии, история одной из самых романтических и захватывающих отраслей производства, знает немало колоритнейших, выдающихся фигур. Среди них в истории русской металлургии на первом месте стоит Курако.

Имя Курако гремело тогда на юге России. Курако ненавидели, ему поклонялись, перед ним заискивали. Вокруг Курако, как это всегда бывает вокруг незаурядного, выдающегося человека кипели страсти.

Имя полулегендарного, романтического человека, около которого сплотилась группа бескорыстных смельчаков, талантливых инженеров и рабочих-доменщиков, неоднократно произносил вслух с недоумением и робким восхищением Ижевский.

Биография Курако была загадочной и неясной. В нее вплетались причудливые, романтические узоры, захватывающие факты. О своей жизни сам Курако подробно никогда не рассказывал, из случайно оброненных замечаний было известно, что он сын дворянина отставного полковника.

Где-то в Белоруссии в местечке Климовичи находились поместья его отца. Маленький Курако рос в любящей холившей его семье помещика. Его воспитывали на лучших образцах изящной классической литературы. Им руководили гувернеры, французы. Ему готовили счастливую карьеру блестящего молодого человека и собирались отправить для продолжения образования в Лейпцигский университет.

Пятнадцатилетний Курако рано почувствовал всю пустоту и скуку помещичьей жизни. Однажды Миша Курако запустил бутылкой в своего воспитателя. Он сделал это обдуманно и хладнокровно. Это не был случайный каприз или раздражение, а неожиданный мужественный вызов, брошенный своей среде.

Из отчего дома Курако бежал навсегда.

Только однажды он еще раз увиделся с отцом. Это случилось через много лет после бегства Миши из дома. Было лето. Михаил Константинович Кураков рабочий-горновой, окруженный с товарищами, сидел во дворе завода на чугунных отвалах. Молодые люди, уставшие после тяжелой работы, с наслаждением закусывали и весело и непринужденно беседовали. Курако был покрыт копотью и сажей. На нем была грязная рабочая одежда.

К воротам подъехал извозчик. Из пролетки вышел человек в военной форме.

Остановил какого-то прохожего, о чем-то спросил его и медленной походкой старика вошел во двор и направился в ту сторону, где сидел с товарищами Курако. Когда военный подошел настолько близко, что можно было разглядеть его лицо, Курако, побледневший и взволнованный, поднялся навстречу старику в военной форме.

- Что вам здесь надобно? — спросил его Курако.

Старый военный с недоумением всматривался в лицо рабочего.

- Мишенька, сын мой, — пробормотал он вдруг и порывисто бросился к Курако.

Михаил Константинович стоял прямой, нахмуренный, чужой.

- Ваш сын давно умер, — сказал он, резко отстранив отца. — На нем теперь рабочие лохмотья, как вы видите. Осторожней, они пачкают одежды дворянина.

- Поедем домой, Мишенька, я куплю тебе костюм, — сказал в отчаянии старый полковник.

Курако насмешливо расхохотался и, резко повернувшись, даже не взглянув больше на растерянного старика, пошел вглубь двора и исчез за горами металлических материалов.

Эта странная и полная трагизма встреча отца с сыном только слегка приоткрыла завесу, скрывавшую биографию Курако. Сняв гимназическую форму, он одел грубую рабочую блузу и пришел на завод. Курако был чернорабочим, каталом, шлаковщиком, горновым. У доменных печей он забывал о себе. Затаив дыхание, он прислушивался к грозному урчанию, доносившемуся из бурлящей огненной утробы. Пытливо и настойчиво

изучал он внутренности печей. Он разгадывал тайны, свершавшиеся в домнах, чтобы подчинить их своей воле и разуму.

Потом пришла слава. Русский горновой Курако с тремя своими подручными спас две только что построенные знаменитым американским доменщиком Женнеди доменные печи в Мариуполе. В три дня Курако расплавил козлы, сковавшие их могучий желудок. Казалось, навсегда бездыханные печи внезапно ожили. Курако стал знаменит.

Директора заводов охотились за Курако, как за драгоценной добычей. В случаях тяжелых аварий, когда, казалось, были исчерпаны все силы и средства, которые могли бы спасти положение, приглашали Курако, и он творил чудеса. Он являлся, всегда спокойный, сосредоточенный, во главе своей изумительно спаянной бригады. Курако тотчас же принимался за работу и нередко ставил в неловкое положение кичливых инженеров, ученых с именами, известных доменщиков.

Краматорка теряла ежедневно на чугуна семь тысяч рублей. Начальником доменного цеха был немецкий профессор Зиммербах. Профессор вел борьбу с серой в плавке и терпел неудачу за неудачей. Чугун выходил у него катастрофически плохим. Наконец решили пригласить Курако посоветоваться. Курако ответил:

— Советоваться тут нечего, надо работать.

— А как работать?

— Это я покажу тогда, когда вы назначите меня начальником цеха.

Так разговаривал русский рабочий с немецкими заводчиками. Курако назначили начальником цеха. Он стал работать со своей бригадой. Краматорка ожила. Она стала выпускать чугун высшего качества.

Таковы были рассказы о знаменитом доменщике Курако. Это был тот самый человек с рыжей бородкой, который приходил к нам в чертежное бюро. А те молодые и задорные люди в углу работали под его руководством. Понятно, что к этому человеку потянуло меня точно магнитом.

По воскресеньям я любил ходить по заводу и смотреть на машины. Часто я заходил в доменный цех, где часами простаивал около горнов. Там почти всегда можно было встретить Курако.

Я выделялся тогда своим нерусским видом, американским костюмом.

Курако заметил меня.

— Вы работали в Америке? — спросил он меня однажды.

Я ответил утвердительно.

— Хорошо работают американцы, лучше нас?

— Конечно лучше. У Гери, например, весь процесс механизирован на домнах.

Курако оживился.

— Вам, значит, нравится американский тип заводов?

— Да, мне очень нравится американское металлургическое производство. Это лучший тип завода, который мне приходилось видеть.

— Это хорошо, очень хорошо, — повторил Курако, внимательно посмотрев на меня.

Так, день за днем, мы стали встречаться с Курако. Все чаще и чаще он заговаривал со мной, задавал вопросы об Америке. Однажды я спросил у него, нельзя ли мне перейти к нему на работу. Курако посмотрел на меня внимательно и, подумав, предложил работать чертежником. Но я уже ближе познакомился с его группой работников. Там были Кизименко, Гребенников, Хабаров, Козарновский, Толли — люди, которые были гораздо сильнее меня в этой области. Помимо того меня тянуло в цех. Я чувствовал, что чертежное дело не по мне, что мне надо от этой работы уходить. Мне было двадцать девять лет. Еще два-три года, и, если я не уйду из чертежников, тогда будет конец. Тогда уже прощай домны навсегда.

Но просить Курако? Я знал: это будет бесполезно. Если он захочет, то сам возьмет меня к себе в цех, не захочет — и никакие просьбы не помогут.

Ах, если бы только вырваться в цех!

...Случилось так, что в это время уезжал Гулыга, помощник начальника доменного цеха. Кто его заменит? Это волновало многих из нас. Называли Чеховича. Его пророчил на эту должность директор завода Свицын. Курако же о кандидатуре Чеховича молчал. Он знал, что я стремлюсь в цех, и, как мне казалось, хорошо ко мне относился.

«А вдруг счастье улыбнется мне наконец? — думал я, и мне становилось жарко от этой мысли. — Но если меня обойдут, что тогда? Опять чертежное бюро и скучные маленькие люди за соседними столами».

Тогда я решил, что надо уходить с завода. Я начал закидывать удочки в другие заводы. Удача: меня пригласили заведывать производством прокатки на Брянском заводе в Бежице. Цех был небольшой, но все же это было значительным шагом вперед.

Получив приглашение, я держал его в кармане. «Посмотрим, что будет дальше», думал я. Я уже стал хитрить с судьбой.

И вот в один прекрасный день я узнал, что Гулыга уехал. Какое-то нервное беспокойство охватило меня. Кого назначат на домну вместо Гулыги?

В тот же вечер я узнал, что на домну назначили меня и Толли.

Это было для меня огромное и неожиданное счастье. Значит, я буду работать в цехе, около домен, вместе со знаменитым Курако. И это, наверное, он захотел, чтобы я работал на домне.

Я ответил в Брянск, что на работу к ним не поеду.

Первый раз в своей жизни я отказался от предложения, которое в другое время было бы для меня более чем лестно.

#### *ГЛАВА IV*

Мопассан как-то заметил, что, если бы судьба не столкнула его с Флобером, он, наверное, был бы лавочником. Гений Ленина породил десятки вдающихся людей. Гении всегда оставляли неизгладимые следы на тех, кто с ними соприкасался.

Однажды в поезде я встретил старого человека. Он читал какую-то книжку, при этом страшно волновался и вдруг заплакал. Я заинтересовался произведением старика и тем, что он читал. В книжке рассказывалось, что в царской тюрьме палачи гоняли политических заключенных сквозь строй плеток. В числе заключенных был необыкновенный человек. Его били по спине, а он шел мимо палачей с книжкой в руках и улыбался. Этот человек был Сталин.

Старик в вагоне плакал потому, что ему никогда во всю жизнь не привелось столкнуться с людьми такого могучего духа. Горько жалуясь на судьбу, старик поведал, что прожил ничтожную жизнь. Я часто задавал себе вопрос: кем был я, если бы судьба не столкнула меня с Курако?

Никем.

Я, наверное, стал бы зауряд-человеком, незначительным чертежником, обывателем, каких было тысячи, кои жили и боролись только ради своего маленького куска хлеба.

Встреча с Курако совершила переворот во всей моей жизни. Это был несомненно выдающийся человек. Он оставлял глубокий след на всяком, кому приходилось с ним работать. Он был полной противоположностью моему первому учителю Ижевскому. Ижевский пробудил во мне любовь к науке. Но он был неумелый учитель жизни. Немного чудака, либерал, толстовец, тихий, наивный старик, далекий от грубой жизненной правды. Ижевский был не в силах развить во мне волевые качества, привить мне бодрость, поднять мой дух, развить смелость. Чаще Ижевский сам нуждался в моральной опоре.

Курако, напротив, был яркий, цельный человек, точно высеченный из крепкой породы. Среднего роста, жилистый и худой. Твердая изящная походка. Уверенная поступь. Красивой, правильной формы голова, высокий лоб, лицо, слегка покрытое морщинами, но сухое, энергичное, энергию которого подчеркивали тонкие губы, опушенные рыжеватыми

усами и бородкой.

Всегда красные воспаленные веки, должно быть, от горячих фурм<sup>1</sup> [1 Ф у р м а — отверстие, служащее для вдувания воздуха в дому], в которые он часто заглядывал. Чрезмерно острые глаза, пронизывающие и вместе с тем удивительно теплые, человеческие. Никогда таких изумительных глаз не встречал раньше. Они сразу вас останавливают, в этих глазах светился большой ум, едкая ирония и насмешка.

Испытав на себе его взгляд, вы чувствовали, что глаза этого человека видят глубоко, проникая как бы в вашу сущность.

Одежда на нем была всегда одинакова. В ней было чрезвычайно много простоты. Летом — синяя куртка, синие брюки, вправленные в сапоги, обязательные во всех случаях. Редко Курако надевал ботинки, и то только на званый обед или если случалось присутствовать на банкете. Рубашка на нем была без галстука, а на голове, как правило, шляпа. Фуражку он надевал только тогда, когда ходил на охоту. Зимой Курако носил кенгуровую шубу, а вместо шляпы на голове капелюху — меховую шапку-ушанку.

Говорил Курако очень резким, звонким, но приятным голосом. Он обладал исключительной силой убеждения. Когда он разговаривал с вами один-на-один и хотел вас в чем-нибудь убедить, то делал это очень осторожно и тонко. Он умел с такой задушевностью подойти к вам, что вы чувствовали, что с вами разговаривает близкий вам человек.

Вместе с тем Курако мог быть резким, холодным и безжалостным. Органически чуждый всякой аффектации и рисовке, простой в обращении с людьми, он ненавидел пустое бахвальство и внешний лоск. Он презирал белоручек, маменькиных сынков, карьеристов и слюнтяев, бегущих от черной работы. Над такими белоручками Курако любил издеваться. Он презирал и считал ничтожными тех инженеров, которые любили носить фуражку с кокардой и надменно обращались с мастерами и рабочими.

— Никогда кокарда не заменит башку на плечах, — говорил он.

Поэтому инженеры, работавшие у Курако, отличались простотой и никогда не носили формы.

Вспоминается такой случай. В Юзовку поступил на работу молодой сменный инженер. Он недавно окончил институт и понятно не имел никакого практического опыта. Тем не менее, это не мешало ему важничать и кичиться своей инженерской формой, с которой он никогда не расставался. В цехе горновой заправлял летку — отверстие, откуда выходит расплавленный металл. Инженерик стоял несколько поодаль, наблюдая работу горнового. Тот забивал летку глиной и выглаживал ее лопатой.

— Плохо, милый, заделываешь летку, — важно заметил инженерик горновому.

Сзади стоял Курако.

— Вы болтаете, господин инженер, — резко сказал ему Курако. — Вам учиться надо у этого рабочего, а не болтать, — и повернулся, оставив обескураженного инженера.

— Понимаете, — говорил потом Курако, — сосун еще в нашем деле, только вышел из колыбели и уже поучает людей.

Курако обращал серьезное внимание на то, как человек работает, гнушается ли физическим трудом. Он уважал только таких работников, которые готовы в любую минуту засучить рукава. Если ему что-либо не нравилось в вашей работе, он никогда не вводил изменений в форме приказа. Курако давал вам совершенно четкие и ясные советы, доказывая, почему именно так, а не иначе надо работать.

Рабочих он убеждал только личным примером. Идет бывало Курако по цеху и если увидит, что какой-нибудь рабочий выполнял не так, как нужно, задание, то, не стесняясь, брал лопату и показывал, как надо работать.

Помню, когда я только начал работать в цехе, он заставил меня прежде всего забить летку. Он подходил к рабочему или инженеру и учил, как надо ставить карбо во время выпуска чугуна.

— Малейшая ошибка — и испортишь весь ряд чугуна и еще без ног останешься.

Он брал в руки шланг и, направляя струю воды, показывал, как правильно заливать

чугун перед ломкой.

— Перельешь, дашь лишней воды — и чугун потом не поломаешь. Не долъешь воды — и чугун останется жидким внутри, а чушка будут течь.

Не стесняясь, Курако брал лопату в руки и показывал, как разделявать канаву для чугуна.

— Канавы не пустяк. Это искусство. Плохо разделал канаву — и вся плавка закозлится.

Курако беспрестанно учил людей, с которыми работал:

— Вы начальники, руководители, лица, которые приказывают, и поэтому вы сами должны знать, что представляет собой всякая физическая работа. Просто приказывать рабочему нельзя. Это у домен не годится, и это большой риск. Здесь вы имеете все время дело с грозной массой расплавленного металла и часто совершенно не знаете, на что идете, когда даете приказ. Поэтому не надо стыдиться, берите ломик в руки и научитесь заправить пушку. Это полезно даже инженеру. У вас тогда создается реальное представление о трудностях.

Курако учил инженеров понимать все, что они начинают делать в цехе.

— Половину дня или ночь вы являетесь главным человеком в цехе. У вас тысяча рабочих, под вашим началом несколько доменных печей, у вас большие и сложные механизмы. И вот, представьте себе, положение требует от вас мгновенного, безоговорочного решения, потому что расплавленный металл не будет ждать, когда вы его направите, и пойдет своим путем, сокрушая все в своем движении. Вы же, тем не менее не чувствуете, что способны распорядиться, потоку что не уверены в знании дела. Это скандал, катастрофа, над вами смеются рабочие, вы навсегда потеряли авторитет.

— Вы сами почувствуете момент, - говорил он в другой раз, — когда вам можно будет начать приказывать. Но если вы только недавно появились в цехе в качестве начальника, не думайте, что можно сейчас же начать командовать, учить людей, не позволять им делать то, что они привыкли делать каждый день. Традиции меняются, но ни в коем случае не отменяются. Запомните это. В самом начале ваша обязанность учиться самому, присматриваться, как работают люди. Систематически изучайте дело, около которого находитесь. Не стесняйтесь, советуйтесь с мастерами, беседуйте с рабочими, они тоже очень много знают в нашем деле. Но не все принимайте на веру: иной раз они вам могут помочь, но часто могут привить и объяснить свои ошибки.

У Курако была удивительно крепкая связь с рабочими. Он всех их прекрасно знал в лицо. Часто он помогал им деньгами и всем давал займы. Он знал каждого рабочего по имени. Знал его прошлое, его быт, семейное положение, знал, кто пьет, гуляет, безобразничает, учится и сколько денег посылает домой. «Скажите, как зовут вон того подручного?», - спрашивал Курако, чтобы выяснить, знаете ли вы людей, с которыми работаете.

— В цехе вас окружают живые люди. Они трудятся, радуются, любят, горюют, чувствуют, болеют. Это люди. Они живут. И вы, их начальник, обязаны присматриваться к ним, изучать их когда надо, будьте их судьей, братом, товарищем, учителем.

Рабочие любили Курако, и ни одна свадьба, крестины или какое-нибудь другое семейное торжество не обходилось без его участия. В гости к рабочим Курако ходил запросто, как свой человек. Он пил с ними водку, смеялся, шутил, забавлял ребятшек.

Зато на работе он был требователен и строг. Он приказывал и приказания давал только один раз. Но это было точно взвешенное и проверенное приказание. Повторяться он не любил. В случае неподчинения никакого помилования он не признавал. Сгоряча он мог выругать без разбора рабочего или инженера самыми последними словами, но если видел и знал, что человек хочет работать, учиться, то всегда прощал. Зато потерю человеком собственного достоинства Курако никогда не прощал никому. Это была самая жестокая провинность перед ним. Человек сильной воли, непреклонных, твердых принципов, смелый и дерзновенный, Курако не выносил тех, кто приходил к нему унижаться, плакать,

кляузничать или, становясь на колени, просить прощения. Таких людей он безжалостно выгонял с завода и прощался с ними навсегда.

## ГЛАВА V

На юге в условиях низкой металлургической техники работа была беспокойная и довольно трудная. Люди работали, обливаясь кровавым потом, выбиваясь из последних сил.

Зимой в холод на жгучем морозе леденели руки, примерзая к тачкам. Летом потрясающий зной от солнца и невыносимого жара печей плавил мозги и изжаривал тела.

Людей не щадили. Они обгорали у открытых колошников, отравлялись газами, падали в изнеможении. Их сменяли все новые и новые партии рабочих, которых пригоняли на завод сотнями, словно голодное стадо.

Печи на юге были маленькие. То и дело они не ладились и часто зависали. Их приходилось выдувать раньше времени. Работали у печей, как слепые, наощупь. Всякого рода материалы были недостаточно проверены. Шихту — пищу печам — давали, точно совершая таинство. Дадут фунтик, потом еще фунтик прибавят. Курако называл это колдовством. Он не любил колдовать, хотя сам у домен был словно жрец.

Технические средства того времени в металлургии были так слабы, что печи никак нельзя было продуть. Останавливались машины. Люди были беспомощны. Никто, кроме Курако, не мог наладить домен. Он применял американский способ продувки печи наружу. Зрелище было потрясающее. Продувание сопровождалось оглушительным шумом. Из колошников вылетали огненные языки и взметались фонтаны раскаленных материалов, словно из кратера вулкана.

Под руководством Курако мы работали много и страстно. Этот человек, неутомимый и беспокойный, казалось, никогда не спал. Часто по утрам он приходил на работу с воспаленными затуманенными глазами. Но как только Курако подходил к домам, он преображался, у домен в нем закипала душа техника.

Курако искал пути облегчения человеческого труда в металлургии и разрешал их смело и просто. Он первый в России ввел машину, забивающую выпускное отверстие. Машину привезли, американцы, но поставить ее не сумели. Курако работал день и ночь и вышел победителем. Он первый в России правильно решил задачу с загрузочным отверстием колошника. Курако не был инженером, но в нем пульсировал какой-то исключительный технический гений. Он был гениальным практиком и шел по принципу простого смысла. Курако обладал удивительным даром технического обобщения. Его горн живет до сих пор. Горн Гогота, горн выдающегося инженера-металлурга, оказался непригодным, и его выбросили.

Но Курако было тесно в душных рамках того времени.

— Эх, Павлыч,— говорил он злобно и разочарованно, — точно сдавили мне плечи тисками, и вот задыхаюсь я, барахтаюсь, машу руками и не могу развернуться !

Где только была возможность, Курако старался найти такую щель, через которую можно было бы выбраться на свежий воздух. Он рвался на широкую дорогу механизации. Он мечтал построить в России крупный механизированный металлургический завод американского типа. Но перед ним вставала глухая стена российского варварства. Его замечательные способности растворялись в мелких перестройках одной-двух старых печей, сводились к довольно мизерным улучшениям, незначительным переделкам.

Он ясно сознавал и хорошо понимал, что именно мешало ему как следует расправить крылья.

Южные заводы строились не сразу и не в больших масштабах. Возникали они от незначительных капитальных вложений стихийно, без всякой идеи, пристраивались и постепенно расширялись. Механизация? Хозяева южных заводов — бельгийцы, французы, немцы — не видели в этом необходимости. К чему, в самом деле, нужна была им механизация, дорогие машины, когда в России такие дешевые рабочие руки? Ведь это все

равно, что Индия или Китай. Поэтому все решалось просто: лопатка, ломик, кувалда и большое стадо обладателей мозолистых рук. Эти простейшие механизмы и в особенности натруженные человеческие мускулы приносили хозяевам не меньше прибыли, чем канительные и хлопотные машины. Идеи механизации рассматривались поэтому как посягательство на святая святых.

Конечно Курако понимал все это превосходно. Он знал, что ему не удастся изменить природу хозяев, и все же боролся, не переставая, за каждое нововведение, за каждый пустяк и все мечтал и все строил фантастические и заманчивые планы.

Меня Курако научил не только работать, не только сделал меня опытным металлургом, инженером-доменщиком, но научил меня также мечтать о металлургической технике небывалых высот.

Вечерами мы собирались у Курако. Он жил в большой квартире один. Туда приходили Сеницын, Толли, Хабаров, часто приезжали тогда еще студенты Микулин и Козарновский. Я очень любил эти вечера, такие тревожные, наполненные шумным товарищеским весельем и смутными, непонятными для меня спорами. Спорщик Курако был замечательный. Он обладал огромной эрудицией и блестящей начитанностью. Он знал куда больше, чем наш брат инженер, хотя университетов не кончал. Он понимал толк в сочинениях Ницше и Рикардо, Шиллера и Гегеля, Смита и Канта, Вольтера и Маркса. Он удивительно просто и популярно раздраковывал перед нами идеи просветителей и материалистов. В его спорах был всегда заложен какой-то камень преткновения.

— У Михаила Константиновича волчий зуб, — говорил о нем Соболевский.

И действительно, я часто думал: кого напоминает Курако во время споров, окруженный маститыми и солидными инженерами, учеными и заводчиками, все большей частью консерваторами и ретроgrадами? В детстве я наблюдал, как маленькую собачонку обступила целая свора здоровых псов. Собачонка, оскалившись, села на задние лапы. Псы к ней не могли подступиться. «Ничего не выйдет, — сказал один мальчишка, — у нее волчий зуб».

У Курако был тоже «волчий зуб». В спорах он был почти всегда неуязвим.

Как-то у Курако спросили, где он учился. Курако улыбнулся: — Я окончил Николаевскую академию.

— Это в Петербурге?

- Нет, в Архангельске. Я там учился три года. Великолепная академия. Николай меня туда устроил.

Курако выдержал паузу и обвел всех горящими глазами.

- Это, пожалуй, лучший университет, какой придумало правительство. — Курако рассмеялся: — Форма, правда, неважная, совсем не для щеголей, серый арестантский халат.

Меня Курако заставлял читать ему новости американской техники. Я приходил к нему с папкой заокеанских журналов подмышкой. Он усаживал меня в кресло против себя и, призвав всех к молчанию, советовал внимательно слушать чтение. Металлургия Нового Света его чрезвычайно интересовала. Эти часы знакомства с мощной заокеанской индустрией, с механизированными домнами и сложным оборудованием были замечательным университетом для всех нас и как-то особенно волновали Курако. Глаза его расширились, загорались злым огнем. Возбужденный, он начинал ходить по комнате.

- Вот на каком заводе хотелось бы поработать, черт возьми! Ах, Россия-матушка, — вздыхал он, — варварская страна! Будет ли когда-нибудь в России построен такой завод, какие строят в Америке ?

Мы часто задавали себе этот вопрос. Но кто будет строить? Потье, наш старый директор Потье, который чихнуть не мог без разрешения банка? Значит, не он. Кто же тогда? Может быть, банк? Но банк ведь постоянно накладывал узду даже на самое малейшее усовершенствование, способное облегчить человеческий труд.

— Утопия, Михаил Константинович, — возражал кто-нибудь, — этого не будет. Россия привыкла ковырять лопатой и будет ею ковырять еще тысячу лет.

Курако отрицательно качал головой.

— А я думаю, что дураков, работающих лопатой будет все меньше и меньше. Это неизбежный процесс развития. Когда-нибудь Россия опомнится и, задрав штаны, побежит за Америкой.

— Через сто лет возможно.

— Через сто или десять лет — не знаю, но это обязательно будет.

Иногда во время этого спора Курако обращался ко мне:

— Ну, а ты, Павлыч, скажи-ка, инженер, будем мы с тобой когда-нибудь в России работать у таких домен, какие ты видел в Америке?

Я в этом был не особенно уверен. В понятный для меня только теперь смысл слов Курако я не вникал. Но почему не пофантазировать?

В долгие зимние вечера мы предавались таким мечтам. Мы рисовали себе необычайные заводы на русской земле. Взволнованная, разгоряченная фантазия уносила нас в сказочную страну технических чудес, где все механизировано, где процесс у домен точен, как часы, а люди у горнов могут не бояться никаких неожиданностей.

Но сон, навеянный фантазией, быстро проходил. Все наши мечты были слишком несбыточны. Они колыхались где-то далеко в дымке розового миража. Действительность же возвращала нас на работу к тем старым домнам, изрыгающим пламя, к коварным «старым самоварам», которые погубили немало простых человеческих жизней, но которые хорошо золотили сказочную жизнь их хозяев.

## ГЛАВА VI

В 1916 году Михаил Константинович Курако покинул Енакиево недовольный и злой. Он механизировал одну доменную печь и принялся было за вторую, когда вся его работа полетела вверх тормашками. Хозяева завода — Русско-Бельгийское общество — отказались от всяких реконструкций, связанных с денежными затратами. Курако рассвирепел, обругал директора и, хлопнув дверью, расстался с заводом навсегда.

Перед отъездом Михаил Константинович зашел ко мне. Он был очень возбужден и злоязычен.

— Не могу больше оставаться в этом вертепе, Я теряю всякое терпение и саообладание. Эту проклятую стену мне, повидимому, никогда не прошибить. Сколько бы я ни дрался с хозяевами за механизацию, из этого ничего не выйдет. Они властелины. А я только порчу себе кровь.

Острые глаза Курако загорелись ненавистью.

— С каким наслаждением я задушил бы собственными руками этих толстосумов или поставил бы их у колошников, — пусть жарятся у этого пекла! Тогда, может быть, они бы кое-что и поняли.

— Но все это вздорная фантазия, — спохватился Курако. — А вот мне, действительно, приходится бежать, бежать куда-нибудь отсюда.

Курако грустно и зло усмехнулся:

— Но куда бежать? Хозяева ведь все одинаковые: немцы, бельгийцы, англичане капиталисты — в их руках власть над южными металлургическими заводами. И все эти хищники ничем не отличаются друг от друга. К чему им, в самом деле, механизация, когда с помощью простой физической рабочей силы они выкачивают из наших старых самоваров море золота? Утешает меня то, что я этому директору напоследок выложил все накопившее во мне за эти годы. О! Я воспользовался при этом всей цветистостью французского и русского языков. Господин Потье так перепугался, что рад будет поскорей избавиться от меня. Ну, и черт с ним, уеду куда-нибудь на другой завод.

Я так свыкся с мыслью работать вместе с Курако, каждую минуту чувствовать близость около себя этого замечательного человека, под руководством которого я стал опытным инженером и расширил свой технический горизонт, что мысль об его отъезде меня чрезвычайно огорчила. Кроме того я опасался, что отъезд Курако отразится и на моем

положении, которое я постепенно завоевал себе на заводе. Курако конечно сразу заметил мое огорчение при известии о его отъезде.

— Если хочешь, поедem со мной, Павлыч, — сказал он, желая меня успокоить. — А впрочем, — добавил он, подумав, — тебе, пожалуй, лучше остаться здесь, тем более, что тебя, как я полагаю, оставят моим преемником. Это для тебя даже очень хорошо. Оставайся здесь, но помни: без уступок — с волками жить — по-волчьи выть. Потье будет цепляться за тебя, он будет соблазнять тебя карьерой и деньгами. А ты пользуйся этим и бери хозяев за глотку.

Снабдив меня такими наставлениям, мятежный, шумный Курако уехал в этот же вечер.

А на следующий день меня вызвал к себе директор завода Потье.

Потье был со мной необычайно любезен и предупредителен, и я сразу понял, о чем он поведет со мной речь. Наливая мне бокал шампанского, Потье говорил:

— К сожалению, мы вынуждены были расстаться с вашим шефом, он слишком горяч и неуравновешен. Мы не поладили и вот расстались. Мы подумали о вас — не согласитесь ли вы, так сказать, взять бразды правления? Мы надеемся, что вы не собираетесь продолжать работу вместе с Михаилом Константиновичем? Лучше конечно будет, если вы останетесь у нас. Мы дадим вам приличное вознаграждение.

— Все будет зависеть от того, что вы мне предложите, — сказал я с достоинством.

— А что бы вы хотели?

— Я затрудняюсь сказать.

— Хорошо. Наше предложение — пятнадцать тысяч рублей в год.

Я не верил своим ушам. Ого! Меня, повидимому, действительно стали ценить. Я был выучеником Курако, и на меня посыпался золотой дождь. «Неплохо», подумал я, чрезвычайно довольный, и потянулся к своему стакану с вином. Я вдруг почувствовал какое-то легкое и приятное головокружение. Я понял, что наступила решительная минута моей жизни и в зависимости от того, как я поведу себя именно в эту минуту, определится вся моя дальнейшая судьба.

Пятнадцать тысяч! Ведь это целое состояние! Это начало счастливой, независимой жизни! Ну что ж, добро пожаловать, приветствую тебя, независимая жизнь!

Увидев, что хозяева нуждаются во мне, я проявил достаточную рассудительность и твердость характера. С волками жить...

Пятнадцать тысяч? Нет! Я не могу согласиться. Я чувствовал твердую почву под ногами и знал, что в эту минуту имел право быть несговорчивым, и я набаавлял себе цену.

Я выторговал себе восемнадцать тысяч в год. Это были хорошие деньги. Теперь я мог быть вполне доволен своей судьбой. Безработица, борьба за кусок хлеба, погоня за призрачным счастьем, дни мучительных терзаний, неуверенность в завтрашнем дне, дни неизвестности и скромных надежд — все это оставалось позади, в прошлом.

Я поднялся сразу на много ступеней выше, над моей головой засияло золотое солнце. Я занял обеспеченное, солидное положение, доступное немногим инженерам.

Только одна-две ступени отделяли меня от директора.

Деньги меняли склонности. Деньги создавали новые привычки. Близость к административной верхушке завода меняла характер и привязанности, влечения и страсти.

Я становился менее восприимчив к суровой жизненной правде, к людскому горю, окружавшему меня.

А за порогом моего благополучия бушевали военные грозы.

На Марне, за Вислой, на берегах Сены Рейна в трагическом безумии скрестили оружие народы.

Была война. Чудовищная и бессмысленная бойня. Ее кровавые отзвуки доходили до моего сознания, когда заводу нехватало рабочих рук. Война пожирала миллионы тонн

металла и миллионы человеческих жизней. Завод поставлял для войны много металла и много людей. Людей для работы не хватало, и тогда я невольно думал о войне.

Я был за войну до победного конца, до последнего солдата.

Я не был патриотом. Но я был русским инженером и поэтому не желал поражения. Я знал, что влечет за собой немецкое засилие. Это знали многие русские инженеры, мои товарищи. Заводы немцев, бельгийцев, англичан, этих варягов на русской земле... В памяти остро оживали дни унижений и безработицы.

Я не мог желать поражения. Нет! Я был за победную войну. Это был животный инстинкт самосохранения, боязнь быть вытесненным в борьбе за существование.

На первых порах после совершившейся в моей жизни чудесной перемены, которая освобождала меня от всяких материальных забот, я был всецело поглощен работой. Круг моих обязанностей расширился. Ответственность увеличилась. Я работал не покладая рук и в лихорадочной работе находил удовлетворение. Совместная работа с таким человеком, как Курако, была для меня великолепной школой. Курако расширил мои горизонты инженера. Прежде всего я был инженером, специалистом, занятым работой, которой я всецело посвятил себя.

Внутренняя сущность явлений и фактов меня не занимала. Я работал потому, что любил домны, любил работу, любил свою специальность.

Назревали огромные социальные явления, земля содрогалась от чудовищных преступлений, совершаемых войной. Все явственней слышались подземные гулы, но все это проходило мимо меня, как нечто далекое, меня не касавшееся.

Я воспринимал реальный мир сквозь призму своего инженерского бытия и благополучия. Работали домны без перебоя — хорошо, мир прекрасен! Заминка на домнах — и все окружающее рисовалось мрачными красками.

Но был ли я вполне счастлив и доволен своим существованием?

Нет.

Меня часто охватывало тоскливое сомнение. Я был молод и полон неумемной силы. Она требовала выхода, простора. Работа часто казалась мне будничной, невыносимо скучной. Как и Курако, мне тоже было тесно. Масштабы становились для меня все более и более узкими. Переделка печей, незначительные перестройки — вот и все. Скука! Мне хотелось чего-то большего. Я понял, что только материально обеспеченная жизнь меня не удовлетворяет. Я все более и более убеждался в том, что моя независимость, которой я вначале так увлекался, была только кажущейся. В конце концов я всецело зависел от воли директора.

Директор завода Потье, старик-француз, взбалмошный и неуравновешенный, легкомысленный и недалекий Потье всегда соглашался с моими планами переустройства завода и распалаял мое воображение, но практически его обещания ничего не стоили. Он всецело зависел от банка, а банк денег ему не давал.

Потье был окружен на заводе целой оравой своих людей, соотечественников и родственников. Из руководителей цехов я был единственный русский. И ко мне, как к чужому, относились с недоверием. Все вопросы решались за моей спиной. Я прекрасно видел и понимал, что, пока во мне нуждаются, меня терпят и умасливают. Но стоило только подвернуться своему человечку, и я немедленно окажусь неподходящим, ненужным, со мной спокойно расстанутся. Малейшая заминка в работе всегда приписывалась моей небрежности — все равно, виновен был я в ней или нет.

Таким образом, когда первое увлечение своим новым положением у меня прошло, я глубоко почувствовал всю его шаткость. Порой во мне закипало раздражение и хотелось, так же как Курако, плюнуть и уйти.

Я не мог никогда забыть историю моего ухода с Юзовского завода. Там я серьезно поспорил с англичанином Крэвеллом, очень хорошим инженером, но чрезвычайно надменным человеком, бывшим в хороших отношениях с директором завода. Наша ссора приняла серьезный оборот, и мне пришлось предъявить ультиматум: или я или он, - но один

из нас должен уйти с завода. Англо-французское засилье на заводе было тогда чрезвычайно сильным, и поэтому в моем ультиматуме усмотрели оскорбление английской нации. Мне дали понять, что в крайнем случае Крэвелл может извиниться передо мной, но расстаться с ним завод не может.

— Что же, тогда мне придется уйти, - заявил я директору.

— С Крэвеллом мы расстаться не можем.

Ясное дело, я получил расчет.

Этот пример я хорошо помнил. В Енакиеве каждую минуту со мной может случиться такая же история. Неважно, что я работал хорошо и мною были довольны, но на заводе было слишком много французов, с которыми я был не в ладах. В особенно натянутых отношениях я был с приближенными Потье. Они откровенно меня недолюбливали и искали только подходящего повода, чтобы избавиться от меня. Все это я прекрасно видел и понимал. Это больно било по самолюбию.

Таким образом, когда я очнулся от приятного сна, навеянного деньгами, я глубоко почувствовал всю унижительную шаткость своего положения. Все чаще и чаще меня охватывали сомнения. Я думал:

«Когда же наконец Россия избавится от проклятых варягов и русский инженер вздохнет свободно?»

## ГЛАВА VII

Февральскую революцию мы встретили с бурным восторгом. Раскрасневшись, как мальчишки, мы ходили по шумным улицам и пели «Марсельезу».

Моими товарищами были Луговцов, Толли, Русанов и Николадзе. Народ все солидный, инженеры, люди влиятельные и с положением. Самым способным среди нас инженером был Толли. Сын камергера, выросший в аристократической семье, он был настоящий барин, самоуверенный и надменный. Несколько ниже Толли по происхождению считался Русанов. Он был из генеральской семьи и часто рассказывал нам о своем брате, командире конвоя его величества.

Луговцов и я были совершенно иного социального происхождения, чем наши товарищи. Луговцов (мы называли его Максюша) был сыном рабочего-газовщика. В люди он пробивался собственным горбом и с поразительным упорством. Он окончил горный институт экстерном, был мягкий, мечтательный человек, удивительно скромный и талантливый инженер-изобретатель.

Объединяло нас то, что мы все были инженерами и занимали довольно привилегированное положение на заводе. Мы вместе работали, вместе гуляли и выпивали.

Нашим идейным руководителем был Русанов. Большинство из нас были политически сырым материалом. Что касается меня, то я вообще далек был от всякой политики. Русанов же выделялся своей политической зрелостью и исключительной образованностью. По своим убеждениям Русанов был кадетом. Он был живым, талантливым и увлекательным собеседником и легко поэтому обращал нас свою веру.

Все мы были состоятельны, нам перевалило далеко за тридцать лет, следовательно, мы были не очень молоды. Понятно, что возраст и наше привилегированное положение не могли не сказаться на нашем отношении к политическим событиям. Я считаю, что когда человек еще молод и жизнь его только складывается, он конечно сочувствует крайним политическим течениям. Поэтому высокая материальная обеспеченность не могла не отражаться на наших политических симпатиях.

Мы были настроены конституционно. Монархию мы отрицали единодушно, но капитализм и буржуазную свободу мы приветствовали. В них мы видели источник прогресса. В конце концов все мы были крепко прикованы к колеснице капитализма.

Деньги, капитал — вот то, что мы признавали движущей силой прогресса.

Но мы с Максьюшей считали, что вся тяжелая промышленность должна перейти в руки государства. Мы горячо стремились освободиться от ига иностранных капиталистов, от ига варягов. В своей наивности мы простодушно полагали, что раз буржуазно-демократическая республика, раз революция, свобода, — значит, долой иностранцев и да здравствует свой, отечественный капитализм. Промышленность и техника станут развиваться в новых условиях, а мы, русские инженеры, своими знаниями будем помогать государству.

Мы даже оформили нашу идею в виде специальной записки, которую подали временному правительству. Мы вложили в нее много горячности и вдохновения. В этой записке, предлагая временному правительству немедленно взять тяжелую промышленность в руки государства, мы рисовали идиллическую картину расцвета промышленности. Мы верили, что в России наступит тогда технический рай.

Толли и Николадзе возражали против нашего плана. Они предпочитали государственному капитализму отдельных хозяев — крупных капиталистов.

Впрочем, разногласия наши не носили острого характера, и жили мы довольно дружно.

Наша записка временному правительству где-то затерялась, и мы так и не получили на нее никакого ответа.

А дни шли своим чередом. Правительство Керенского существовало уже несколько месяцев, но все надежды на то, что после революции жизнь станет лучше, не оправдались. Война продолжалась по-прежнему. Жизнь с каждым днем дорожала, положение становилось все хуже и хуже.

Все чаще рабочие кричали: «Долой войну!» Рабочие устали от войны и работы до седьмого пота. Они требовали восьмичасовой рабочий день, начертанный на знамени свободы.

Свои требования рабочие предъявляли прежде всего нам, своим начальникам. Приходилось часто выступать на собраниях. Оратор я плохой, тем не менее я горячо доказывал, что прекратить войну невыносимо. Это не в интересах родины.

— Надо воевать во что бы ни стало, — убеждал я рабочих. — Кто идет против войны, тот подрывает новую государственную власть и свободу.

Особенно я напирал на свободу. На требования рабочих сократить рабочий день мы обычно отвечали:

— Вы сами знаете, какой момент мы переживаем: свобода в опасности, наши братья в окопах, одним словом — надо работать двенадцать часов в сутки.

Я не задумывался над тем, что и Потье слово в слово говорил то же самое. В конце концов невелика уж была разница в мировоззрении хозяина и его привилегированного слуги — инженера.

Рабочие, понятно, с нашим доводами не соглашались. Они бросали работу либо самовольно вводили восьмичасовой рабочий день.

Рудники останавливались. Это немедленно отражалось на работе завода. Потье бесился. От него ускользали заказы и доходы. Он собирал начальников цехов и инженеров и требовал от нас решительных действий.

— Если так будет продолжаться работа, — кричал Потье старческим фальцетом, — то нам скоро нечем будет расплачиваться с рабочими, мы обанкротимся!

Это была чистейшая ложь, потому что за один только год хозяева поджили себе в карманы пятнадцать миллионов прибыли.

Но вскоре рабочим действительно перестали платить жалование. Рабочие шумели, негодовали, волновались и бунтовали. Рабочие начали портить машины, растаскивая завод по кусочкам.

Началось массовое бегство с завода, невероятная паника. Захватив семью, ораву своих родственников и заводскую кассу, Потье удрал из Енакиева. Попозли какие-то странные слухи: в Петрограде и в Москве рабочие взяли власть в свои руки. Но толком никто ничего не знал.

Завод почти не работал. Дымились только две печи. Люди разбежались. Хозяин удрал. Денег не было.

Мы посещали множество собраний. Помню одно такое собрание в кинотеатре, куда пригласили всех инженеров, рабочих с завода и рудников. Собрание должно было решить вопрос: брать в свои руки завод или не брать. Выступали рабочие и инженеры. По своему чину председателя союза инженеров я обязан был выступить. Я высказался очень туманно, но в том смысле, что лучше всего обратиться к капиталистам, нашим хозяевам, за помощью, получить от них деньги и таким образом восстановить работу завода. Высказался и Русанов. Он говорил более определенно:

— Без капиталистов ничегошеньки не выйдет. Об этом свидетельствует история. Это закон. У каждого свое определенное место: рабочие работают и трудятся, а хозяева управляют. Так было до сей поры, пусть так продолжается и дальше.

Но Русанову не дали закончить. В зале закричали:

— Дальше этого не будет!

Русанова оттеснили в сторону, трибуну заняли незнакомые люди. Они заявили, что приехали из Петрограда, что Совет народных комиссаров объявил все заводы собственностью государства. Постановление Совета народных комиссаров они прочитали рабочим, разъяснив при этом, что питерские пролетарии уже взяли заводы в свои руки.

— Так что разговаривать теперь не о чем. Завод этот наш, и мы будем управлять им сами. Для этого нужно избрать рабочее правление.

Стены зала сотрясались от криков, шума и возгласов. Тускло горевшие керосиновые лампы отбрасывали зловещие тени на стены и людей. Все это было необычно и неожиданно, так стремительно и ново, что я был сбит с толку.

В рабочее правление я войти отказался. Кто знает, надолго ли все это? А вдруг завтра придет настоящий хозяин, придет Потье, — что тогда? Ведь Потье мне этого не простит, и я вынужден буду оставить завод. Я заявил, что работать согласен, я буду во всем помогать, но в правление войти не могу. Меня избрали главным инженером завода и рудников. Я согласился работать, чтобы присматривать за добром хозяина завода — француза Потье.

Нелегкая это была задача — пустить завод, когда рудники не работали, когда вокруг полный развал, разброд, когда доменный цех остановился, мартеновские печи потухли, «бессемер» погас, когда денег на заводе ни копейки и рабочим буквально нечем платить за работу.

В этих условиях надо было что-то начать делать, расшевелить людей, привести в движение механизмы, как-нибудь наладить финансовую часть. Но дело не клеилось. Каждую минуту меня могли обвинить в саботаже и приставить к виску дуло револьвера. Я работал как на вулкане, без всякого энтузиазма. Новой власти нужен был металл, чугун, сталь. Завод должен был работать во что бы то ни стало. Но без денег, на одном лишь честном слове, нельзя было заставить людей работать.

Тогда-то у рабочего правления родилась мысль послать меня во главе делегации в Петроград, где я должен был подробно рассказать рабоче-крестьянскому правительству о создавшемся положении на заводе и просить денежной помощи.

В Петроград я поехал с группой заводских рабочих. К нам приставили комиссара и снабдили огромными мандатами. Ехали мы, как и полагалось в те смутные годы, без всяких удобств, в холодных вагонах с разбитыми стеклами.

Было начало 1918 года. Измученная империалистической войной Россия только-только вступала в сложную и суровую эпопею гражданской войны.

Вагон был набит до отказа человеческими телами, люди перли в вагоны с неукротимой, слепой силой. Они висли гроздьями на подножках, на буферах, ругаясь, угрожая, лезли на крыши, цеплялись, падали. Поезд продвигался медленно, ощупью, точно слепой. Мы подолгу стояли на полустанках, разъездах, станциях с заплеванными и захарканными вокзалами, хрустевшими от вшей и грязи.

Всюду солдаты, люди в серых шинелях, женщины, бородачи, дети. Словно их взмыло могучим шквалом и понесло по российским просторам. Словно какая-то неудержимая, непонятная сила влекла их куда-то вперед, и они, повинувшись этой силе, цеплялись за вагоны, падали под колеса паровоза, обмерзали.

Я присматривался к людям в вагоне: матросы, с заткнутыми за пояс наганами, с повязанными накрест, поверх бушлатов, пулеметными лентами, фронтовики-солдаты с винтовками, люди, овеянные пороховым дымом, рабочие, бородачи-крестьяне, девушки и юноши со смелыми, бесстрашными лицами.

Хриплыми и простуженными голосами вагон пел песни, сквернословил, спорил о войне, славословил революцию»обсуждал вопрос о земле и хлебе. Я сидел оглушенный и растерянный, не в состоянии разобраться в хаосе нагрянувших на меня путаных мыслей.

Я увидел близко русский народ, закорузлый, обовшивевший, потный и величественный русский народ, который, кряхтя, разворачиваясь, отряхиваясь, подымался из праха на великую священную войну.

Тяжелые мысли овладели мной, нарушая привычную спокойную уравновешенность буржуазного инженера. Я увидел, что вокруг меня совершается действительно что-то неслыханно большое, титаническое. Я почувствовал только сырую плоть эпохи, слегка с ней соприкоснулся, но постичь великую правду движения огромных человеческих массивов оказался не в силах.

Я не понимал, чего хотят все эти матросы, мужики и солдаты, что нужно миллионам солдат, рабочих и крестьян?

Еще больше меня вывел из равновесия Петроград. Город напряженно суетился, куда-то спешил, торопился. Улицы кишели вооруженными отрядами матросов, солдат и рабочих. Над домами, в пасмурном небе, жужжали самолеты. Бесперывной лентой тянулись обозы. По многим признакам видно было, что в городе какая-то тревога. Заколоченные двери и витрины некогда роскошных магазинов придавали улицам мрачный вид. Насупленные, хмурые, замкнутые лица людей подчеркивали это унылое настроение.

Вооруженные люди, обозы, мебель, грузовики, пушки, — все это двигалось в направлении к Нарвской заставе. Рабочий Петрограда был в смятении.

Где-то совсем недалеко, на подступах к городу, слепые, неумолимые вильгельмовские пушки угрожали смертью молодой республике. Государственные учреждения оставляли Питер, перебираясь в Москву.

В этих условиях наша судьба мало кого могла интересовать. Штаб революции был занят вопросами гражданской войны, брест-литовскими переговорами, хлебом и голодом,— он был поглощен вопросами жизни и смерти революции, и в такой напряженный, критический момент было даже совестно беспокоить вождей ради какого-то там завода, который находился где-то за тридевять земель.

«Ну к чему было ехать сюда? — задавал я себе вопрос. — Понесла меня нелегкая в такое время! Все это напрасно. Денег у большевиков, наверное, кот наплакал, совестно даже будет говорить о деньгах. И — чего доброго — еще застрянешь здесь где-нибудь с этими «товарищами», беспокоился я не на шутку.

Нас принял Ларин.

Какой пост он тогда занимал, я не припомню. Жил он в гостинице «Астория». Его комната была вся завалена книгами. Книги были повсюду: в беспорядке на письменном столе, в шкафах, свалены в ящиках в углу комнаты. На стене висела большая карта Российской империи с двуглавым орлом и с вотинутыми в нее флажками, указывающими продвижение в Россию немецкого империализма. Флажки торчали совсем близко от Петрограда.

Худой, бледный, болезненный Ларин сказал, что ни Ленин, ни Свердлов нас принять не могут, потому что они очень заняты важными делами и все разговоры с нами поручено вести ему, Ларину. Я присматривался к нему. Впервые в жизни я столкнулся лицом к лицу с крупным по тому времени большевиком. Я рассматривал его с равнодушным любопытством,

с каким обычно люди севера рассматривают негра. «Должно быть из ораторов, — размышлял я о нем, — похож на недоучившегося студента».

Мы обрисовали Ларину бедственное положение завода. Он делал пометки в тетради, часто прерывал нас, отвлекаясь на мой взгляд, в сторону от прямых интересов завода и стараясь подробно выяснить настроение рабочих, о чем они думают и что говорят. «Ну вот, политика, — размышлял я недружелюбно, — отвлеченные разговоры! А я перед отъездом целый месяц корпел над докладом, надеялся заинтересовать новых хозяев планом переустройства завода. А тут заводскими делами даже и не пахнет».

Вопрос о деньгах Ларин обещал передать на рассмотрение каких-то ответственных товарищей, но в получении денег был не совсем уверен.

— Конечно, правительство приложит все усилия, чтобы помочь рабочим вашего завода. Но мы бедны, мы с вами еще очень бедны, товарищи, — говорил Ларин, обращаясь к нам.

Мою докладную записку относительно переустройства Енакиевского завода, в которую я вложил столько сил и рвения, Ларин не стал читать, «Смешно, — думал я, — даже было ее подавать». Он просил только кратко изложить ее содержание и основную идею. Я это сделал весьма неохотно, стараясь как можно скорее закончить аудиенцию.

— Видите ли, товарищ Бардин, у нас есть одна идея, прервал меня Ларин в середине беседы. — Возможно, вас как инженера она заинтересует, и вы сможете оказать нам большую помощь.

Он дал мне понять, что речь идет о каком-то сложном техническом и экономическом проекте, и, не говоря о его деталях и содержании, просил зайти к нему через два дня для подробных разговоров.

В душе это меня рассмешило, но мало-помалу странное предложение стало меня занимать. Я бродил по взволнованным улицам Питера, всматриваясь в серые, голодные лица людей и думал: «Интересно, какой это может быть проект?» «Он сказал, технический какой-то проект. А вдруг это что-нибудь занимательное, интересное? Но что занимательного и интересного могут предложить сегодня товарищи-большевики? Не завод же, в самом деле, строить? Пустая затея, — рассмеялся я над этой нелепой мыслью. — Не до жиру, быть бы живу. Власть еле на ногах держится, кругом развал, паралич, грохот орудий, война, голод. Пустяк какой-нибудь, не иначе. А что если вдруг предложат занять какой-нибудь пост?» подумал я с неудовольствием.

То, что я узнал через два дня у Ларина, меня поразило своей неожиданностью. Это был проект Мещерского о развитии и слиянии в один концерн всех машиностроительных заводов России. Вначале с большим недоверием, а затем с интересом и жадностью набросился я на цифры, экономические выкладки, анализы, глубокие обоснования и обобщения. С удивлением и горечью я подумал, что нечто подобное, но из области тяжелой металлургии я проектировал когда-то с моим товарищем Луговцовым в безвестно затерявшейся докладной записке, поданной нами временному правительству. Но, признавался я самому себе, в сравнении с этими интересным и широкими обобщениями наши планы были куцые.

Передо мной был все же проект, интересный экономический план, и я не ставил теперь перед собой никаких мучительных вопросов, а с головой ушел в работу над ним, не размышляя о том, для кого и для чего нужен был этот план в такое странное, беспокойное время.

Еще больше удивился я, когда после плана Мещерского мне предложили участвовать в консультации проекта электрификации Донбасса.

В Петрограде существовала тогда некая компания «Донток». Эта компания предложила построить в Донецком бассейне электростанцию, работающую исключительно на отбросах и способную питать электроэнергией все рудники. Компания «Донток» состояла сплошь из дельцов, которые не прочь были подработать даже у оборванных, голодных большевиков. Эти дельцы считали, что раз власть перешла к большевикам, — пусть даже

временно, — почему бы, если это удастся и большевики окажутся покладистыми, не перехватить деловым людям у них известную сумму денег?

Техническая идея «Донток» была не лишена содержания и интереса. Но самое невероятное было то, что большевики оказались покладистыми! И в какое это было время! Восемнадцатый год. Начало революции. В то время революционный смерч, носившийся над русской землей, выдирает с корнями и кровью вековую несправедливость и гнусность, безжалостно выкорчевывал и разрушал сложившиеся понятия и привычки. Это было время, когда во всех областях жизни происходила беспрецедентная разрушительная работа, без которой, как потом показала история, невозможна была никакая созидательная работа, никакое возрождение и прогресс. Воспитанные на буржуазных понятиях морали и нравственности, прикованные к капиталистической колеснице, как каторжник к тачке, мы старые инженеры, видели только одну сторону революции, которая нас пугала, — разрушение. И многих из нас, инженеров, в том числе и меня, т. е. людей, профессия которых создавать и строить, отвращала именно эта сторона революции, которая была неизбежна и подчинена исторической необходимости революционного разрушения.

Озираясь вокруг, я неприязненно допускал, что «они-то» заведут у себя такой порядок, что в конце концов исчезнет всякая возможность развития како-го бы то ни было производства.

И вдруг оказывается, что люди, охваченные идеями разрушения, далекие от созидательной практики, люди, над головой которых проносятся угрожающие бури, под ногами которых содрогается земля, — в такое неслыханное время эти люди находят возможным заниматься строительными проектами и планами!

— Но что это? — задавал я себе вопрос. — Неслыханная дерзость или сумасшедшая фантазия большевиков?

С чувством глубокого удивления и недоверия сидел я на этих странных совещаниях, где разбирали какие-то несбыточные, на мой взгляд, проекты, под грохот орудий и треск пулеметов.

Нет. Все это слишком не вязалось с действительностью, не умещалось в моем ограниченном представлении о внутренней прогрессивной жизненной силе большевизма.

С волнением, понятным только инженеру, я углубился в эти технические проекты, недоумевая, поглядывал на болезненного Ларина и, подходя к окну с беспокойством и тревогой смотрел на улицу, прислушиваясь к подземному рокоту и гулу, разносившемуся над русской землей.

Я уезжал из Питера в состоянии полнейшего беспокойства и растерянности. Произошло мое первое знакомство с большевиками. Я знал — мое сердце было далеко не с ними. Но мысль лихорадочно работала под влиянием новых впечатлений.

## ГЛАВА VIII

Мы получили около 8 миллионов рублей. Нас посадили в отдельный вагон, приставив к нам 7 вооруженных красноармейцев.

Домой я возвращался в еще более напряженных условиях разгоравшейся гражданской войны.

Домой мы приехали в конце марта и немедленно рассчитались с рабочими. Денег хватило как раз только на то, чтобы расплатиться.

Завод почти стоял. Рабочие приходили на работу по привычке, и хотя им нечего было делать, но платить им надо было. Платить же было нечем, и, как только это стало известно, начались уходы с завода.

Удержать людей не было никакой возможности. К тому времени немцы теснили красные части. В предчувствии прихода немецких оккупантов рабочие оставляли завод.

Неожиданно ожили банды, появились какие-то анархисты и различные карательные

отряды. Мы были ими совсем терроризованы. Пошли частые повальные обыски. Не обходилось без мордобоя и расстрелов.

Я был выборным главным инженером, и на моих руках оказался покинутый всеми завод. Помню такой случай: раздается звонок по телефону:

— Говорит такой-то командир (непонятной и неизвестной мне части), предлагаю выслать к такому-то разъезду лошадей, муку, подводы и деньги.

Я поясняю:

— Вы не туда обращаетесь. У нас завод, а не городское управление. Вам нужно обратиться туда, а я могу вам ответить только относительно завода.

Слышу свирепый голос:

— Как ваша фамилия? Отвечаю.

— Ты кто такой?

— Главный инженер.

— Так вот что, главный инженер если не представите через пятнадцать минут все, что я просил, — расстреляю тебя и твой завод.

И действительно! Этот прохвост верен своим словам. Через пятнадцать минут он начал ухать по заводу из пушек и, обстреляв его раз двадцать пробил два каупера.

Через день пришли немцы.

Вошли они чинно, организованно стройными рядами, в касках, застегнутые на все пуговицы и с бравым оркестром музыки.

Немецкое командование вызвало директора. Я представился. Начались расспросы: каковы угольные запасы, что есть на складах, сколько рабочих заводе, как расположены пласты.

Потом они привезли горного инженера, и со всей немецкой аккуратностью был составлен точный инвентарь запасов руды, угля и металла.

Никаких разговоров о возобновлении производства немцы не повели, только поставили охрану завода запретив без разрешения немецкого коменданта что-либо вывозить.

Беспокоило то, что насчет денег немцы не очень раскошеливались. Аккуратно они вывозили все, что имелось на складах, но о деньгах молчали. Когда однажды я повел разговор с немецким командованием относительно невозможности работать дальше с пустыми карманами и большими долгами, мне ответили:

— Дайте железо — дадим деньги.

Железо немцы брали, но деньги не платили, и очень скоро я понял, немецкие оккупанты перешли от ознакомления с заводом к тактике простого грабежа. Они уже без всяких церемоний вывозили все, что можно было вывезти.

Кое-как мы тянули на старых запасах кокса и угля. Но эти запасы быстро истощались.

Как быть дальше?

Рабочие требовали деньги за работу, но денег у нас не было, и мы их обильно кормили обещаниями: «Не волнуйтесь, граждане рабочие, у нас временная задержка. Вам будет уплачено полностью».

На этих «не волнуйтесь» и «не беспокойтесь» мы тянули месяца два. Но долго так продолжаться не могло.

Неожиданно в Харькове объявился доверенный старого хозяина завода, бывший бухгалтер Иванов. Я получил телеграмму от него с предложением немедленно выехать в Харьков для переговоров.

Подробно я рассказал ему о состоянии на заводе, о поведении немцев, о недовольстве и тяжелом положении рабочих.

- Что же вы хотите? — спросил Иванов.

- Нужны деньги.

- Сколько?

- На первых порах нужно миллиона три.

- Этих денег вы не получите. Я имею приказ Потье не давать ни копейки.

Рассчитывайтесь с рабочими, как знаете. За прошлое время правление не отвечает и платить не будет. Вам была оставлена готовая продукция, а вы ее разбазарили.

- Немцы все вывезли.

- Взыщите с немцев.

Иванов требовал от меня издания приказа о том, что после незаконного акта, который имел место при большевиках, завод с такого-то времени возвращается законным владельцам.

- А вот вам для этого основание: постановление украинского правительства.

Иванов передал мне это постановление и добавил, что вопрос о компенсации рабочих и служащих будет рассматриваться в соответствующих инстанциях.

— Все это прекрасно, — возразил я. — Но сегодня, сию минуту нужны деньги. Завод совсем остановится. Он будет разрушен.

Добывайте — деньги сами, — ответил Иванов, — пока хозяин не придет наводить порядок.

С таким ответом от бывшего хозяина и снабженный постановлением украинского правительства о возврате завода законным владельцам я вернулся из Харькова.

Обстановка на заводе создалась невероятная. Завод не работал. Рабочие волновались, они хотели есть и требовали денег. Но денег не было.

И вот тогда возникла идея отправить через кордон рабочую делегацию в Москву и просить денег у советского правительства. Я не знаю точно, у кого возникла эта идея. Но родилась она в рабочей среде. Рабочие настаивали на том, что советское правительство не оставит их и поможет деньгами. Прецедент уже был, правда, при других обстоятельствах, когда юг не был отрезан от России. Но теперь? Это было сомнительно и невероятно.

Под большим секретом рабочие избрали делегацию и отправили ее через фронт в Москву к большевикам за помощью. Из делегатов я помню только одного — начальника литейного цеха Дегтярева.

Рабочие завода ждали возвращения своих ходоков с непоколебимой верой в успех. Инженеры завода в успех такого рискованного предприятия не верили, допуская, что это просто хитрый агитационный маневр подпольных большевиков. Я не надеялся на получение денег от большевиков. Я видел, в каком состоянии находилась страна от Ростова до Петрограда. Я видел разруху, голод и знал о том, что кольцо врагов все туже сжимало большевиков.

Каковы же были наши удивление и радость, когда через месяц делегаты приехали на завод и привезли с собой одиннадцать миллионов рублей!

С величайшим риском для жизни и невероятными трудностями делегаты пробирались обратно через фронт и привезли все деньги до одной копейки.

Тот факт, что большевики помогли деньгами рабочим завода, который принадлежал капиталистам и находился на территории, оторванной от советской России, имел исключительное значение. Этот факт еще сильнее подчеркнул хищническое поведение немецких оккупантов и «украинского» правительства.

Рабочие с тихим восторгом и радостью, шепотом говорили о большевиках.

А нам, инженерам, — мне, Русанову, Кравцову, тем, кто в душе таил неприязнь к большевикам, тем, кто не принимал власти бедняков, — нам, привязанным к телеге российских хозяев, оставалось удивляться тому невероятному явлению, которое произошло на наших глазах.

Только как парадокс, мы расценивали этот замечательный по силе его внутреннего содержания факт.

Деньги не пахнут. Хозяева закрыли на все глаза и дали возможность без всяких репрессий и преследований рассчитаться с рабочими деньгами большевиков.

С доверенностью правления на завод приехал Иванов. Бывший главный инженер завода, немец Шлюп (зять Потье), явился вскоре за Ивановым. Меня низвели на должность начальника доменного цеха. Главный инженер завода Сахарнов, бывший на этой должности

до меня, был восстановлен.

Крутились мы неважно: угля и кокса не хватало. Работали кое-как на одной, двух печах, кое-как прокатывали рельсы и в общем владели самым жалким существованием.

Положение с продовольствием ухудшалось с каждым днем. Для борьбы с затруднениями был создан продовольственный комитет, и меня назначили его председателем.

Главную силу представляли советские деньги. Ими мы расплачивались, на них мы покупали хлеб, распределяя его через продовольственный комитет рабочему населению.

Таким образом, помимо начальника цеха, моя обязанность заключалась в снабжении рабочего населения хлебом.

Но так продолжалось не долго, потому что вскоре начала приближаться фронтовая полоса, а наше местечко занимали поочередно самые разнообразные войска.

В конце концов стало все же ясно, что перевес как будто на стороне красных. Это заставило руководящую группу инженеров завода кое о чем подумать. Уверенности у инженеров не было, оставаться им на заводе или нет. Слишком часто менялись власти, и еще неизвестно было, как красные отнесутся к инженерам, к тем, кто был связан с хозяевами и помогал им на заводе.

Одним словом, инженерская публика откровенно побаивалась большевиков.

Пришлось думать об отступлении тяжелой артиллерии, то есть всей семьи.

Семью я перевез сначала в Мариуполь к знакомым, а затем в Таганрог.

Долго однако ждать не пришлось. Вскоре мы увидели, что немцы в панике и растерянности бегут с Украины. Страшно было видеть, как эта армия, еще так недавно грозная, дисциплинированная и монолитная, была охвачена разложением. Немцы спешно распродавали все, вплоть до пулеметов, и бежали без оглядки, полным ходом. Почему и отчего немцы бежали, нам было неизвестно.

Енакиево взяли красные. На ходу там осталась одна доменная печь, но фактически завод замер.

Фронт был все время довольно близко.

В марте месяце 1919 года началось вновь наступление белых. Правление, в лице Шлюпа и Иванова, решило вернуться в Енакиево и заняться восстановлением завода.

В тот период безвластия, когда было довольно легко заработать авантюрой, создалось два правления. Одно правление немецкой ориентации — Шлюп и Иванов, — им покровительствовали немцы. Другой претендент появился, когда ушли немцы, — это был сенатор Ильяшенко, старикашка лет семидесяти, довольно живой и энергичный человек. У него был мандат, выданный ему русско-бельгийским обществом еще в 1917 году.

Совместно с секретарем Мерье сенатор Ильяшенко первым делом заявил свои претензии на имущество завода. Добровольческие власти утвердили его права. Шлюпа отстранили. Ильяшенко объявил себя «престолонаследником» и начал хозяйничать. Это было откровенное и циничное разбазаривание завода.

Вскоре и Ильяшенко понял, что надо начинать работать, но ехать на завод он побоялся. Надо было послать для этой цели какого-нибудь подходящего человека. Таковым оказался я.

Хотя время было довольно беспокойное, но рабочая публика на заводе знала меня хорошо и я мог ехать туда, ничего не опасаясь. Кроме того я любил завод, был к нему привязан, в нем включалась частица моей жизни. Было интересно посмотреть, в каком состоянии находится завод.

На месте я увидел, что работу можно начинать, но для этого опять требовались деньги. С такой информацией я приехал в Ростов к Ильяшенко.

- Что можно продать? — спросил он. Я ответил, что на складах есть кое-какие заготовки, которые Ильяшенко не успел еще ликвидировать, и что ими можно обернуться.

- Этого хватит для начала?

- Нет, недостаточно.

- Тогда надо искать другой выход.

Решили получить аванс от добровольческого правительства на какие-нибудь заказы.

Вот когда я впервые познакомился с тем, что представляли собой крупные правительственные заказы.

Побывали мы во всех инстанциях. Я представлял техническую часть, Ильяшенко, а, главным образом, Мерье — финансовую. Как оказалось, Мерье имел права несколько большие, чем Ильяшенко. Бельгиец Мерье действовал через своего консула. Мерье был человеком удивительно подходящим для момента. Плут и пройдоха, он был не прочь заработать и достаточно хорошо изучил нравы российских казнокрадов. Человеку с башкой, каким был Мерье, легко было заработать любой авантюрой. При помощи взяток Мерье обрабатывал крупных и мелких чиновников министерства путей сообщения, получая любой заказ. Делалось это вполне легально, через официальных маклеров. Таким-то образом мы получили заказ на два с половиной миллиона пудов рельс, выхватив этот заказ прямо из-под носа у Юзовского завода.

Жизнь как будто бы входила в старую, привычную колею. Деловые люди начали понемногу приходить в себя, подторговывать, брать взятки, суесться, обманывать. На улицах уже не постреливали. Впрочем, время от времени многое напоминало о том, что война еще продолжается.

На заводе у меня работали шлаковые десятники Шитков и Пшеничный. Это были ребята молодые, здоровые, отчаянные. Кто-то донес, что они большевики. Их взяли. В местечке стоял Марковский полк, нагонявший грозу на рабочее население.

Однажды ночью меня разбудил сильный стук в дверь и странное всхлипывание и вопли. На пороге стояли дети: мальчуган лет шести и девочка чуть постарше. Дрожа и задыхаясь, дети рыдали и просили спасти отца, которого хотят повесить. Я отправился ходатайствовать. Рассказав полковнику, что этих шлаковщиков я знаю лично, что они не большевики, что у них маленькие дети, я просил пощадить рабочих ради маленьких детей. С этим полковником у меня в свое время произошла размолвка. Я довольно нелюбезно отнесся к попыткам реквизиции хлеба продовольственного комитета и не предоставил необходимых ресурсов для его частей. Полковник мне это напомнил и с неприязнью сказал:

— Прошу вас не препятствовать нам заниматься нашим делом.

Спассти двух рабочих не удалось. Казаки повесили их на глазах у детей.

Работу мы начали в небольших масштабах. Печи и прокатку мы пустили тихо, без всякого шума, но с попом и молебном господа богу. Мы старались как можно скорей выпускать рельсы и продавать их.

Постепенно в родные веси слеталась наша старая публика, товарищи и друзья. Приехали Русанов, Кравцов, Луговцов. Вместе мы опять стали закручивать заводскую машину.

Наконец приехал и сам Потье. Со мной он не разговаривал. Злой, насупленный и недоверчивый, он только справился, куда делись его ковры и почему это инженер не побеспокоился об его имуществе.

С этими коврами случилось следующее: рядом с Енакиево, около станции Ясиноватой, сражались красногвардейцы с какой-то казачьей частью. Отдавая особую честь павшим красногвардейцам, рабочие похоронили их в прекрасном саду Потье и при этом завернули тела павших бойцов в его же ковры.

Потье считал меня виновников гибели его ковров.

Покрутился Потье на заводе буквально день. Повидимому, он получил какие-то сведения, не совсем благоприятные, и в тот же вечер уехал. За ним последовали Ильяшенко и Мерье. Директором на заводе остался родившийся в России англичанин Спельс.

Однажды Спельс вызвал меня и сказал:

— Нам нужно уехать в Ростов на некоторое время.

— Зачем? — спросил я.

— Надо...

Для меня было совершенно ясно, в чем дело. События развивались быстро, и уже через пять дней можно было наблюдать беспорядочное и паническое отступление частей белой армии. Рабочие завода почувствовали приближение Красной армии. Тихо, подпольно началась организация новой власти на заводе.

И опять возник вопрос, что делать нам, как быть инженерам? Уезжать или оставаться? За последние три года мы так привыкли к недолговечности любой власти, к стольким переменам, что уверенности не было ни в чем.

Красные, гайдамаки, немцы, террористы, бандиты, зеленые, опять красные, белые... С последними мы уж как-то сработались, внешне как будто уже все успокоилось, было тихо, мирно, заказы продолжались, завод работал.

И вдруг опять паника, обстрелы, отступления. Надолго ли? Мы ясно поняли, что то основание, на котором мы строили свое благополучие, опять зашаталось и, повидимому, рушилось совершенно.

Над всем этим наша инженерская публика серьезно задумывалась. Собираясь у меня или у Русанова, мы просиживали долгие ночи напролет и решали один единственный, мучительный гамлетовский вопрос: быть или не быть? Остаться ли с большевиками или собрать манатки, захватить семьи, покинуть насиженные места, бросить завод и уйти вместе с добровольцами нивесть куда, повести непривычную бивуачную жизнь и надеяться на славное белое оружие, ждать, что наступят другие времена и можно будет спокойно вернуться на завод к настоящим, солидным хозяевам?

Самым ярым сторонником ухода с белыми был Русанов, который чрезвычайно сильно влиял на нас.

— Инженеры — особая порода! Мы дворяне! С большевиками нам не по пути, — убежденно говорил Русанов. — Придут «товарищи» пролетарии стран, и каждый хам, голоштанник будет мнить себя хозяином, каждый будет указывать тебе, тыкать в тебя пальцем. А ты — инженер, ты получил образование, у тебя жена, дети, культурные навыки и привычки, желание жить не на пятак. Но «товарищи» поставят тебя в определенные рамки, посадят тебя на хлеб и селедку, и строй с ними коммунизм. Они будут тебе доказывать, что все-де мы теперь равны. А ты им поддакивай, выступай с речами.

— Противная жизнь, — продолжал Русанов, — это мрачные жизненные казематы и никакого просвета. Прозябание, нищета тела и духа. Надо упаковывать чемоданы. Все равно это не надолго. «Товарищи» очень скоро покажут пятки. Так что лучше уходить.

Мы волновались, спорили, взвешивали. С одной стороны казалось, что Русанов прав. Но с другой — каждый из нас задавал себе вопрос: куда ехать, зачем? Было страшно подумать, что вот надо бросить все, поднять семьи и уйти в неизвестность.

Может быть, остаться. В душе каждый из нас конечно прикидывал, можно ли довериться рабочим, «товарищам», большевикам. Было ли сделано что-либо такое, что внушало тревогу, боязнь мести, репрессий или наоборот? Какое поведение давало хотя бы незначительную уверенность спокойно ждать прихода красных?

Я мог не беспокоиться. Рабочие относились ко мне хорошо и мне доверяли. Помимо того, я мог рассчитывать на поддержку нескольких большевиков, которых я скрывал в продовольственном комитете, но на душе было все же серо, уныло и неопределенно.

Неожиданно погиб Русанов. Он умер от тифа за несколько дней до прихода новой власти. Будь Русанов жив, он не остался бы с большевиками, и многие инженеры, наверное, последовали бы за ним. Его смерть вызвала растерянность и смятение в рядах инженеров. С его смертью инженеры потеряли своего идейного руководителя.

...Белые отступали. Поспешно, растерянно, злобно, в панике бросая оружие, снаряжение и обозы. Я наблюдал отвратительные картины крысиного страха. Прячась в подворотнях, офицеры поспешно срывали погоны.

Я наблюдал за окнами это падение и лихорадочное бегство. В ту минуту я понял, что Русанов неправ, что это надолго, возможно — навсегда, что это повидимому, смерть. Корабль охватило пламя, его ломала буря, он тонет и идет ко дну.

Белые были уже мертвецами. Меня с ними ничто не связывало. Это был чуждый мне мир.

А завод? Завод был мне близок. В нем была моя жизнь, и я не мог и не хотел с ним расстаться. Я решил остаться с большевиками.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ГЛАВА I

В поздний зимний вечер кануна Нового девятьсот двадцатого года передовые разьезды восьмого пролетарского полка Красной армии заняли наш уездный город.

С черного неба падал ленивый снег. По притихшим булыжным мостовым Енакиева стремительно процокали вооруженные всадники. Прильнув к окну неосвещенной комнаты, я увидел холодную, заснеженную улицу. Мимо окон мелькали силуэты верховых, державших винтовки над головой.

Те, кому пришлось переживать гражданскую войну не в рядах дерущихся армий, а смотревших на величайшие потрясения со стороны, хорошо, вероятно, помнят то неизъяснимое состояние растерянности, любопытства, удивления и нервного беспокойства, которое обычно охватывало сторонних наблюдателей в те моменты, когда эти огромные события проходили на их глазах. Их было много, таких людей, особенно среди интеллигентов.

Я был одним из тех интеллигентов, кто с угнетенным чувством и удивлением наблюдал из оконного переплета взрывающийся, волнующийся, кипящий в огне мир.

В тот памятный новогодний вечер, когда я, оцепенелый и пораженный, смотрел из окна неосвещенной комнаты на таинственные и романтические силуэты скакавших галопом всадников, бряцавших оружием, и надругих людей, — торопливых, нервных, с полубезумными, ослепшими от страха глазами, убегавших от занесенных над их головой сабель, прячущихся в подворотни, жалких, трусливых сегодня, но вчера еще безумных в своей мстительной ненависти, — я думал в те минуты о суровой человеческой правде. В чем она заключается, эта правда, где она, в ком искать ее?

Не в этих ли людях, что так трусливо и злобно прячутся в подворотни, и не в делах ли их? Вздор! Я знал этих людей хорошо, наблюдалих рядом с собой. Мое сердце от них всегда отшатывалось.

Тогда, может быть, в тех, с перевитыми кумачом папахами, людях, суровых и простых, с лицами солдаты пролетариев вместе? Этим людям я знал меньше, но видел их постоянно рядом с собой.

В далеком детстве в голодных волжских степях я видел этих людей, удобрявших своим потом проклятую скупую землю; и на другом конце мира, за океаном, в далекой Америке, я видел этих людей, где вместе с ними, обливаясь кровавым потом, я зарабатывал себе право на хлеб, право на жизнь впроголодь; и в России, здесь, на Юге, я постоянно вижу их, — ведь это катели, горновые, доменщики, слесаря... Ведь это они, бросая лопаты и ломы на заводе, берут винтовки, чтобы своею кровью завоевать свое счастье, свободу. Ведь это русский народ, крестьянин, рабочий, держа винтовку наперевес, скачет мимо моих окон, загоняя в подворотни истории всю эту трусливую и алчную свору тунеядцев и палачей!..

Мне стало душно от этих мыслей, скомкавших мое сердце. Значит, вот в чем правда! Она опустошала меня потому, что рушила мои привычные убеждения. Я обнимал ее разумом, но не вполне еще принимал сердцем.

Любопытство толкало меня на улицу. Что, если подойти к этим людьми спросить их? Нет, им не до меня. Они сочтут меня сумасшедшим и прогонят.

В раздумье я долго стоял у окна, под которым становилось все шумливее: громыхали

обозы, тачанки, тархтели протаскиваемые, словно бульдоги на поводу, тупорылые пулеметы, пронеслись кавалеристы, люди шли молча, и только слышались отдельные редкие, громкие голоса, да где-то уже за городом строчили пулеметы, и оттуда доносилось заглушаемое и относимое ветром стрекотанье...

Ночь прошла совсем спокойно. Никто не тревожил меня, — чем я был немало удивлен. Столь частые и неожиданные политические перемены за последние два-три года на Украине приучили нас к бесчисленным оскорблениям и надругательствам со стороны различных переменчивых властей. Но на этот раз все обошлось как нельзя лучше: тихо, без всяких волнений и беспокойства.

Утром меня позвали в штаб полка для разговоров. Здесь заседал ревком. Среди членов ревкома я увидел несколько бывших рабочих завода, вступивших в город вместе с частями Красной армии. По утомленным лицам, по горящим лихорадочным огнем запавшим глазам, обрамленным красными веками, было видно, что эти люди проводят уже не одну бессонную ночь. Вместе с тем нельзя было не заметить какого-то особого, удивительно простого, сурового достоинства и мужества, которым веяло от слов и поступков этих людей.

Некоторое время я сидел перед ними под гнетущим впечатлением молчаливых и холодных взглядов, обращенных на меня.

— Так вот, Иван Павлович, — обратился ко мне рабочий рельсопрокатки Рыжов, нарушая наконец гнетущую атмосферу молчания, — мы намерены установить на заводе новые порядки.

Спокойный голос, которым Рыжов произнес эти слова, не скрыл от меня его нелюбезный, отчужденный тон.

- На то и новая власть, чтобы устанавливать новые порядки, — согласился я.

— Какое положение вы занимали в последнее время, при Потье? - спросил меня Рыжов.

— Я был главным инженером завода.

— Из инженеров все остались на заводе или удрали с беляками? — продолжал допрашивать Рыжов.

— Не знаю, по-моему, остались все, — ответил я.

— Нет, не все, — возразил Рыжов. — Кое-кого мы перехватили с чемоданчиками, готовых к отплытию в дальний путь. Пришлось их вернуть обратно с позором. Да вы их знаете, верно. Это — Грейзель, Никулин.

— Так это ведь люди с рудников, — объяснил я Рыжову.

— Да, но инженеры все-таки.

Рыжов продолжал допрос все тем же холодным, нелюбезным тоном. Повидимому, он занимал среди членов ревкома определенное положение, потому что его никто не перебивал и в его разговор со мной никто не вмешивался.

— Скажите, Иван Павлович, — обратился ко мне Рыжов, — как относятся заводские инженеры к нашей рабочей власти?

Я сказал, что всех инженеров валить в одну кучу не следует, что есть конечно среди них такие, которые не очень расположены к большевикам, но в большинстве — это, пожалуй, люди аполитичные, лойяльные, техники, которым все равно, с кем работать. Но что люди растеряны, отметил я, и не знают, как к ним отнесутся большевики, этого отрицать тоже нельзя.

— Очень просто отнесутся: будут работать на нас, братскую руку протянем, окружим почетом, пролетарское спасибо скажем, а нет — так будем рассматривать, как врагов. А с врагами, как вы знаете, воюют.

— Я к чему это говорю, — продолжал Рыжов, — без инженеров ведь мы не обойдемся. Но инженер инженеру рознь. Ну, взять хотя бы вас, Иван Павлович, — говорил Рыжов, — можно сказать, что вы будете с нами, на нас работать? Вы не обижайтесь, что я так прямо вас спрашиваю.

— Что же, обижаться тут нечего, — ответил я. — Все понятно. Я для того и остался, чтобы работать.

Члены ревкома пристально смотрели на меня. Рыжов сказал:

— Тогда давайте вашу руку, товарищ Бардин, и начнем работать на новых хозяев, на нас самих.

Рыжов крепко пожал мою руку, и куда-то сразу исчезла суровость его лица, растаяла атмосфера отчуждения, стало легко, просто от этого доверчивого обращения ко мне: «товарищ Бардин».

Ревком заинтересовался тем, что собой представлял завод. Достаточно ли рабочих на заводе, каковы запасы угля, руды, кто из инженеров остался и на кого можно положиться, что они будут бескорыстно работать на советскую власть.

Я подробно информировал о состоянии завода, о том, что в течение двух лет его непрерывно грабили все, кому только не лень: и немцы, и гайдамаки, и добровольцы, что они истощили заводские ресурсы и что многие рабочие и инженеры разбежались, не пожелав работать, не получая за это ни копейки.

И все же, докладывая я ревкому, завод живет, мы не дали потухнуть печам. Хорошо было бы, если бы он продолжал работать и впредь. В свою очередь и я заинтересовался, кто же будет руководить заводом. Мне объяснили, что для этого будет избрано рабочее правление. Туд авошли почитаемые, старые рабочие завода — Костопцев, Генак и другие. Еще с утра стало известно, что меня «пригласили» для беседы в штаб пролетарского полка. Иронически и боязливо шептались об этом на заводе инженеры. Кто-то пустил слухок, что Бардину вообще не сдобровать: «ведь, он главный инженер завода...»

Утром же стало известно, что этой ночью близ Енакиева было задержано в самом начале их бегства несколько инженеров с рудников, пытавшихся уйти к отступающим белым.

Связывая эти два события в применении к личной судьбе, многие инженеры завода пали духом, растерялись. Не сделали ли они ошибку, пренебрегая в свое время советами и призывом Русанова переждать падение большевиков в лагере белых? Что же греха таить! Ведь и на этот раз многие инженеры были слишком уверены, что ликование большевиков необоснованно, что военный успех Красной армии эпизодичен и что сроки долговечности советской власти надо исчислять самое большее двумя-тремя месяцами.

— Но этот срок достаточен, чтобы товарищи большевики позаботились о нашем брате-инженере. Попадет нам от них, — досадовали некоторые инженеры.

Но когда через несколько часов меня увидели целым и невредимым, прохаживающимся около печей, и когда на мне не обнаружили и следов тревоги и опасений за мою судьбу, лица у инженеров несколько прояснились.

— Значит, все обошлось благополучно, значит, все обойдется и впредь. Ну, а те бегуны с рудников, ведь сами же они виноваты. К чему, в самом деле, бежать, когда, оказывается, товарищи большевики хотят, чтобы инженеры работали.

Через день стало известно, что рабочее правление назначило меня главным инженером завода. Мне предоставили полнейшую возможность использовать все наличные средства, чтобы не дать заводу погаснуть, замереть, чтобы варить металл, столь важный в жизни любого государства. Как инженеру-металлургу мне было совершенно ясно, что именно металл решал успех любой войны, что именно чугун и сталь — первоисточник прогресса и культурной мощи всякой страны в двадцатом веке.

И в незабываемый двадцатый год, последний год гражданской войны на юге России, в год, когда растерзанная, истрадавшаяся, голодная Россия, но обновленная, как после тяжелой болезни, поднялась на своих еще слабых ногах навстречу счастью и свободе, — мне, инженеру, открылось ясно, что именно чугун и сталь есть та несокрушимая броня, которой новая страна должна защитить свое счастье, свою свободу.

И в том, что революционный комитет вызвал к себе инженера и откровенно, прямо, с жесткостью спартанцев и прямотушием детей спросил у него — хочет ли инженер или не

хочет работать на счастье своего народа, - мне открылся с какой-то поразительной ясностью смысл вещей.

«Черт возьми,— твердил я самому себе. — Ведь это же так просто: вещи выполняют функцию, которую им предназначают, но все зависит от того, в чьих руках они находятся». - Я не знаю, был ли то афоризм досужего философа, или это само собой сформулировала моя мысль. Но мне вдруг представилось так отчетливо просто, что, работая на Потье, работая на французских и бельгийских банкиров, мы все, и рабочие, и инженеры завода, делали металл, который в руках этих банкиров превращался в орудие их мощи, был функцией их власти над людьми, средством закабаления и уничтожения людей. Ведь это из металла, сваренного нами — рабочими и инженерами, русский царь, немецкие бароны, французские капиталисты пушками, снарядами, пулеметами превращали в прах жизнь и счастье русских, немецких, французских рабочих и крестьян.

Но вот появились новые люди, поновому определяющие функции вещей. И они хотят превратить горячий чугун и сталь в орудие, способное обогатить и укрепить счастье всего народа.

Какая простая, гордая и великая задача! Как я мог не принять ее серд ацем, если даже не вполне еще обнимал разумом?!

И в тот день, когда рабочие доверили и поручили мне руководить заводом, мне вдруг стало ясно, для кого на кого я должен работать.

## *ГЛАВА II*

Девятьсот двадцатый год был годом, когда обессиленная, рязоренная кровавой, империалистической войной, испепеленная пожаром гражданской войны, Россия дошла до последней черты своего истощения. Устал измученный и изголодавшийся народ. Разрушенные заводы и фабрики с омертвелыми машинами бездействовали. Промышленное производство прекратилось, заглохло. Шахты стояли затопленными, торговля замерла. Всюду развал, разруха, голод. Крестьяне и рабочие, покинувшие пашни и заводы, сражались на фронтах, добивая своих врагов и угнетателей.

На берегу Черного моря шли еще последние схватки с золотопогонниками, над Севастопольским рейдом еще пролетали последние снаряды, посеваемые армией революции черным баронам, еще перелистывалась последняя страница гражданской войны, когда гениальный Ленин и его мудрая партия большевиков уже наметили завтрашний день страны.

Кончалась гражданская война, и начинался период восстановления. Партия большевиков наметила программу возрождения хозяйственной промышленной жизни страны. Это было очень трудное, но большое дело, за которое взялся великий советский народ. На фоне общего развала и разрухи Енакиевский завод был единственным из всех южных заводов, который буквально чудом за время гражданской войны ни на один день не останавливал своего производства.

Но что это была за работа! Дымилась одна, реже две домны, да и для них постоянно не хватало пищи. Печи жили на голодном пайке, на последней тонне угля и руды, заводская касса пустела, рабочим нечем было платить за работу.

Исключительно трудно было при этих условиях работать. Но работать надо было во что бы то ни стало, надо было вдохнуть жизнь в заводской организм.

С особой силой стремился к этому я, потому что передо мной стояла задача — оправдать доверие, которое мне оказали рабочие завода.

Прежде всего надо было достать хлеб, чтобы накормить рабочих и их голодные семьи. Хлеб являлся основным условием оживления заводского организма. Затем надо было раздобыть денег, чтобы расплачиваться с рабочими за работу.

Но куда обратиться за всем этим ,к кому?

Можно было попытаться обратиться за помощью в Харьков, где находилось украинское советское правительство. Рабочее правление туда именно и решило отправить для этой цели большую делегацию.

Был снаряжен собственный поезд, и мы поехали в Харьков в своих вагонах-теплушках, со своим паровозом, на собственном угле.

Не так-то легко было осуществить путешествие в тот год. Расстояние от Енакиева до Харькова, покрываемое в нормальных условиях в десять-пятнадцать часов, мы с трудом преодолели в восемь дней. Застигнувший нас снежный занос задержал наше продвижение на двое суток. Двое суток мы очищали от снега и чинили местами разорванные пути. Окрестные крестьяне дружно помогали нам в нашей беде. Но снег был не единственным препятствием, которое мешало путешествию. Два раза пришлось менять маршрут потому, что в пути нашего следования орудовали бесчисленные банды. Они останавливали поезда, спускали их под откос, грабили и убивали ни в чем неповинных мирных граждан.

По дороге в Харьков мы неожиданно узнали, что впереди нас идет поезд наркомпрода Украины. Мы протелеграфировали наркому, что делегация рабочих Енакиевского завода хотела бы с ним встретиться. Нарком ответил, что готов принять нас. Встреча состоялась на каком-то глухом полустанке недалеко от станции Гришино.

Владимиров принял нас очень радушно, напоил чаем, подробно расспросил о положении на заводе, интересовался количеством рабочих и их настроением, и нашими наличными запасами хлеба. Выяснив все это детально, нарком распорядился отправить в Енакиево хлеб и отпустил нам значительную сумму денег.

Окрыленные таким успехом, мы решили не возвращаться в Енакиево, а доехать до Харькова и там также получить дополнительное продовольствие и деньги.

Первым, кто нас принял в Харькове, был товарищ Чубарь. Он руководил тогда Высшим советом народного хозяйства Украины, который помещался в доме горных промышленников. Нельзя не вспомнить обстановку в ВСНХ, типичную тогда для всех советских учреждений. Дом, в котором находился ВСНХ, не топили уже давно, не было угля. В холодных комнатах температура стояла ниже нуля. Замерзающие, с лиловыми от холода носами сотрудники сидели в валенках, одетые во все теплое, что имели. Пледы, платки, кацавейки, вытасенные из пыльных сундуков, причудливые плюшевые ротонды выделялись на фоне папах и солдатских шинелей.

Выслушав и пообещав помочь, Чубарь направил нас в нижний этаж дома, где разместилось Центральное управление тяжелой промышленности.

Там мы быстро столкнулись обо всех наших заводских делах и нуждах. Мы обсудили детально техническое состояние завода, причем точно установили, сколько угля нам нужно на первых порах, какие требуются ямам заказать насосы. Мы даже составили план работы нашего завода на ближайшие три месяца, и, что важнее всего, нам была обещана определенная сумма денег для расплаты с рабочими.

Это был мой первый серьезный деловой разговор о производстве, работе, о заводских делах с представителями советской власти. Я остался вполне доволен так удачно закончившейся поездкой.

Мы уже собирались покинуть Харьков и направиться обратно в Енакиево, но тут узнали, что в этот именно день на митинге в театре Муссури с докладом выступит Дзержинский.

Среди замечательных людей, окружавших Ленина и Сталина, среди вдохновителей и творцов Октябрьской революции Феликс Дзержинский занимал особое место. Имя этого человека одни произносили с ненавистью, другие со страхом, третьи гордо, с любовью и надеждой, так или иначе, это имя не знало равнодушия.

В памяти у меня остался незабываемый плакат: над головами оскалившейся, разъяренной своры генералов, фабрикантов, попов — занесный меч — ВЧК! Молодая советская республика была со всех сторон окружена озверелой сворой врагов и предателей.

Председатель ЧЕКА Феликс Дзержинский представлялся мне меченосцем революции. Вот он — прямой, непреклонный смотрит с портрета, точно заглядывает в твою душу, чтобы прочитывать в ней сокровенное, скрытое.

Мне очень хотелось услышать Дзержинского. Вполне естественно, что я отложил свой отъезд, чтобы попасть на митинг.

Помещение театра Муссури в Харькове в тот вечер напоминало скорей осажденную крепость, нежели театр. Толпа людей запрудила площадь вокруг театра и плотным кольцом забаррикадировала входные двери. Все эти люди, жаждавшие увидеть и услышать Дзержинского, напирали друг на друга, теснились, волновались, отчаянно ругались. Я ходил вокруг взбудораженной толпы в надежде найти хоть малейшую лазейку, изобретая невероятные способы проникнуть в театр.

Желание услышать Дзержинского и боязнь утратить такой подходящий случай были настолько сильны, что, в конце концов, измятый, с отдавленными боками, я очутился в театре.

Большой, слабо освещенный зал был туго набит людьми. Облаченные в солдатские шинели, в тулупы, в папахах и красноармейских шлемах люди сидели, тесно прижавшись друг к другу, грудились вдоль стен, и казалось, что стены гудевшего зала не выдержат такого буйного натиска и рухнут, раздавленные человеческими телами.

Но вот по залу пронесся нараставший шепот. Тысячи глаз обратились к сцене, где помещался длинный стол, покрытый красной скатертью.

К столу подошел высокий худощавый человек в красноармейской гимнастерке, в сапогах, с запоминающимся характерным продолговатым лицом, обрамленным знакомой по портретам острой бородкой.

Это был Феликс Дзержинский.

Несколько мгновений он стоял, положив руку на сердце, выжидая, когда утихнет людской гул в зале, куда он устремил свой орлиный взор. Зеленовато-серые глаза его, казалось, горели. Я стоял близко к сцене и видел это хорошо.

Гул не унимался, и, не дождавшись, Дзержинский оторвал от сердца руку и, подняв ее, внятно произнес:

— Товарищи!

Зал покачнулся, притих и замер.

Обращаясь к красноармейцам, рабочим и крестьянам, Дзержинский начал свою речь невысоким, но четким голосом, за которым чувствовалась большая сила и который в самом начале наэлектризовал весь зал.

Люди слушали его с захватывающим вниманием. По мере того как Дзержинский говорил, интонация его голоса все более повышалась, слова становились резче, чеканнее, он по-рывался всем корпусом вперед и нервно шагал по сцене.

И весь он — высокий, худой, энергичный, пламенный, как бы собранный в нервный узел, неумолимый и прямой — овладевал сознанием и волей сидящих перед ним людей.

Впервые в своей жизни я слушал такого пламенного оратора, видел такого большого политического борца, слова которого, мне казалось, выходили из самого сердца, возникали из кристаллических глубин человеческой души.

Я смотрел вокруг себя, на людей, обросших бородами, усталых, исхудавших, но уверенных в своей победе, опьяненных правдой, которой, точно пламенем, обжигал их Дзержинский.

Да, да! Необычайная сила правды, неотразимая сила убеждений дышала в словах Дзержинского, и я это почувствовал с первых же слов, брошенных им в толпу.

Затаив дыхание, слушал его настороженный зал. Дзержинский говорило том, что такое советская власть:

— Это власть народа, власть рабочих и крестьян, разбивших цепи рабства, опрокинувших коронованных палачей и их золотопогонных сатрапов. Это — власть тружеников, уничтоживших кабалу, притеснение, эксплуатацию человека человеком. Это —

вы сами, красноармейцы-бойцы, рабочие и крестьяне, сидящие в этом зале. Это — великий трудовой, советский народ, уничтоживший царя, помещиков и капиталистов, — вот что такое, товарищи, советская власть!

В зале бушевало море, стоял несмолкаемый гул, а Дзержинский, пламенея, рисовал суровому и разгневанному воображению людей задачу завтрашнего дня. В его коротких фразах вставляли картины разрушений, причиненных войной, навязанной рабочим и крестьянам белыми генералами, помещиками и фабрикантами.

— Но для чего же мы воюем, для чего мы боремся на фронтах гражданской войны? — спрашивал Дзержинский.

И отвечал:

— Для того, чтобы с оружием в руках отстоять нашу власть, нашу свободу, наше право на жизнь, на труд, на счастье для всех; для того, чтобы завоевать свободу и счастье нашим детям и внукам.

Мы сами должны ковать свое счастье! Уже сегодня мы должны начать борьбу с разрухой, восстановить разрушенный транспорт, оживить заводы и фабрики, озеленить поля и пашни, накормить и одеть наших детей, сделать цветущим, радостным, могучим наше советское государство.

Только ни на одну минуту не забывайте о мече, держите винтовку на боевом заряде, потому что враги наши не дремлют.

Сдавленный со всех сторон человеческими телами, я уже ничего не замечал вокруг себя. Я видел только пылающие гневом и решимостью глаза людей, так же как и я потрясенных до глубины души простыми, но такими волнующими словами Дзержинского.

Правда, ясная, неотразимая правда, — я это увидел и почувствовал, — вот что захватило людей в зале, вот что поразило и мое сознание и сердце. Я видел перед собой не просто трибуна, но и храброго воина, чье имя ввергало в трепет врагов, чьи слова, словно разящий меч, с сокрушающей силой рассекали мои сомнения.

Тот вечер не сотрется из памяти. Я не забуду этот митинг в тускло освещенном зале, где слова большого человека взывали к сердцам людей, заставляли их кипеть гневом, воспаляли надежду. Я не забуду неотразимый образ Дзержинского, «железного Феликса», «рыцаря революции», глубоко запавший мне в душу образ храброго воина, с несокрушимой волей и всепобеждающей верой в великую правду, которую он уверенно и гордо нес впереди себя, как боевое знамя.

Дзержинский закончил свою речь.

И тут раздалось пение, все поднялись на ноги. Люди пели «Интернационал», песню борьбы и победы, песню труда и надежды.

Волнение душило меня, мешало петь. Кружилась голова, учащенно билось сердце.

Что-то важное, большое совершилось со мной в тот вечер, Переломилось мое сознание. Я понял, что мое сердце приобщается к новой жизни.

### *ГЛАВА III*

Болезнь помешала мне сразу же взяться за работу. Сразив меня тотчас по приезде из Харькова жестокий тиф на много дней привал меня к постели. К острым физическим страданиям примешивались страдания моральные. Я очень мучся от того, что так неуместно и не вовремя захворал.

Грозный спутник войны, болезнь голода и разрухи, — тиф уносил в те годы много человеческих жизней. Эпидемический характер заболевания делал невозможной эффективную борьбу с ним. К этому примешивалось еще общее недоедание, недостаток самых необходимых продуктов. Почти совершенно отсутствовали лекарства.

Но мне не приходилось жаловаться на отсутствие заботы со стороны моих новых друзей — общественных и советских организаций. С самого начала болезни, когда выяснился ее

тяжелый характер и слабая сопротивляемость моего организма, рабочее правление завода и совет проявили исключительную заботу обо мне. Меня окружили особым врачебным уходом. Для меня откуда-то добывались дорогие лекарства, необычайные и редкие по тому голодному времени продукты: масло, белый хлеб, яйца, какао, сахар, фрукты. С какой заботливостью беспокоились обо мне рабочие — руководители завода, работники совета, большевики, уже много месяцев недосыпавшие, измученные борьбой, которую они выносили на своих плечах, сами изголодавшиеся и, может быть, не меньше, чем я, нуждавшиеся в поддержке утомленного организма кусочком масла и стаканом молока.

Трогательная забота этих людей, во время опасной болезни выходивших меня, волновала до слез.

Я много думал в дни болезни и много позже, когда память возвращала меня к этим дням, об этой удивительной заботливости. И во мне завершился переворот, тот внутренний процесс обновления, который начался еще задолго до этого.

Отныне я знал, кому принадлежат мои руки, мой труд. В этом для меня не оставалось уже никаких сомнений.

С каким воодушевлением я взялся за работу, как только почувствовал в себе достаточную силу!

Хотя завод работал, хотя в одной печи варился чугун и мы даже прокатывали кое-какие детали, но всего в таких ничтожных количествах и при такой ненадежной сырьевой базе, что каждую минуту завод мог остановиться совсем. Больше всего я боялся именно этого, я опасался, что остановленный при тех условиях развала завод уже невозможно будет пустить потом. Завод мог существовать только при достаточном количестве руды и угля. С этого и надо было начинать, принимаясь за работу.

Основа жизни металлургического завода — руда и уголь, как вода и хлеб — основа жизни человека. Есть руда и уголь на заводах в печах, значит есть сырье, из которого варят металл, значит завод живет.

Природа запрятала это сырье глубоко в землю, но человек упорным трудом извлекает его из недр. Для этого человек роет шахты.

Но наши шахты к моменту, о котором идет речь, находились в самом жалком состоянии.

Я всегда был невысокого мнения о хозяйничаньи капиталистов в России и, в особенности, хозяйничаньи бельгийских и французских капиталистов, которым принадлежали шахты и завод. Это, на мой взгляд, были наиболее алчные капиталисты в России, бесцеремонно, варварски эксплуатировавшие завод. Ни о каком техническом прогрессе на заводе не могло быть и речи. Технику, оборудование, машины они заменяли людьми, труд которых расценивался тогда в России слишком дешево.

Большой Енакиевский завод с бессистемно расположенными цехами был оборудован разнотипными машинами, примитивной и опасной для человеческой жизни техникой. Но еще больше варварское хозяйничанье капиталистов сказывалось на рудниках. Здесь все буквально висело на волоске, каждую минуту угрожая обвалом. Начиная с шахтных стволов, в большинстве деревянных, и кончая наиболее жизненно необходимым оборудованием — насосами, южные шахты мне всегда представлялись страшной западней, притаившимся бедствием, готовым в любой момент и от любой неосторожности обрушиться и похоронить под собой все живое.

Не потому ли шахтеры всегда с проклятием спускались в шахту, в страшную западню, не потому ли так горяча была их ненависть к хозяевам, ненависть, которую они часто обрушивали на своих начальников-инженеров?!

И действительно, их было за что ненавидеть. Горные инженеры всегда были совершенно замкнутой кастой людей, которых само государство отделяло от рабочей массы мундирами всякими побрякушками. Заводские инженеры, каково бы ни было расстояние между ними и рабочими, внешне, по крайней мере, не отличались от остальных людей, они

облачались в обычную гражданскую одежду. Не то было среди горных инженеров: они всегда блистали золотыми пуговицами, фуражками с кокардой, одним словом, всей той казенно-бюрократической золоченой мишурой, которая олицетворяла деспотическое, самодержавное, эксплуататорское государство, столь ненавидимое рабочей массой.

С особой силой эта ненависть прорвалась с революцией и для многих горных инженеров окончилась катастрофой.

Многие старые инженеры не могли осмыслить, что в жизни государства произошла важная перемена, что им самим нужно перемениться, изменить манеру поведения и общения с людьми, переоценить свое отношение к шахтерской массе, к людям, работавшим под их началом.

На мою долю выпала тяжелая задача: навести порядок в шахтах. Я взялся за эту работу со всей силой желаний как можно скорее поставить завод на ноги.

Положение на шахтах, и без того тяжелое, в последние месяцы гражданской войны оказалось совсем печальным. Вследствие прекратившегося питания электричеством, нижние горизонты шахт оказались затопленными. Приходилось пускаться на самые невероятные вещи: откачивать воду клетями, пускать под водой растрепанные, истерзанные паровые насосы.

Единственный электрический насос — редкость на наших шахтах — работал из последних сил, на предельной мощности, без запасных деталей. Малейшая поломка, и насос выходил из строя, все рушилось, на шахте замирала жизнь. Если это был паровой насос, то он имел почтенный сорокалетний возраст, и с проржавленными трубами паропровода и водопровода походил на тяжело посапывающего и хрипящего старика, еле передвигающего ноги.

Шахты затопляло водой все больше и больше. Вода поглотила нижние горизонты и начала уже подматываться кверху. Нужны были срочные меры, чтобы спасти шахты. Нужно было остановить на ремонт котлы, сразу же начать починку пароподъемных машин, привести в подок и восстановить водопроводные магистрали. Для этого нужны были люди, квалифицированные рабочие-механики. Нужда в механиках была огромная. Здесь их осталось мало считанные единицы. Тут больно сказалась оторванность горных инженеров от практической жизни шахт. Наиболее необходимую квалификацию — механиков — разогнали, уничтожили, обезличили настолько, что одного порядочного механика в шахтах не осталось. Между тем спасение рудников и шахт зависело именно от них. Пришлось механиков с завода перебросить на работу в шахты.

Горные инженеры косились на меня, принимали мои распоряжения в штыки, видели во мне человека, нарушившего привычный и застойный как болото, строй их жизни. Они видели во мне человека, вторгающегося в их область работы, где они почитали себя такими непогрешимыми и никому не позволяли диктовать себе указания. Хозяину, который мог лишить их мундира, они не отказали бы в праве это сделать, — они ему служили, и он ими распоряжался. Но инженеру, да еще не горняку, и к тому же выбранному и назначенному большевиками, — этого они позволить не могли.

Но я мало считался с их настроениями и психологическими переживаниями. У меня была определенная цель — завод должен работать, а для этого нужно спасти шахты, — откачать их.

Что ж поделаешь! Пришлось втогнуться в чужую область, закостенешую, как порода, и порядочно-таки порастолкать людей локтями.

Следует сказать, что и между собой горные инженеры жили далеко не дружно. Здесь, более чем в другой старой технической среде, существовали зависть, подбострастье, желание выслужиться какими угодно способами, даже самыми низкими. При всей кастовой замкнутости, среди старых горных инженеров были серьезные разногласия, подсиживание, стремление забежать вперед и при удобном случае подставить ножку товарищу. Особенно недопустимо вели себя молодые горные инженеры, кившиеся своей формой, публика настолько же заносчивая, насколько технически мало подкованная.

Главным инженером рудников был тогда П. — человек немолодой и достаточно опытный в горном деле, образованный и толковый инженер.

Людей надо было заставить работать, а инженеры полагали, что это можно сделать по-старому: жестокостью, окриком, хамством. Они требовали поэтому от главного инженера решительных мер. П. же, достаточно умный, чтобы это понимать, полагал, что нельзя вести себя с шахтерами так, как раньше.

Против П. вооружились его же товарищи — горные инженеры. Они вели себя с ним дерзко, упрекая, что он, вследствие своей слабохарактерности, виноват в том, что шахтерская масса проявляет к ним такую ненависть и презрение.

Так, в то время, когда надо было начать работать, когда надо было поднять людей вокруг задач производства, горные инженеры вносили дезорганизацию, разжигали неприязнь друг к другу. Мне казалось, что ведалось это сознательно, чтобы помешать восстановлению рудников и шахт. Я понял, что без крутых мер даже с квалифицированными работниками дело не сдвинешь с мертвой точки.

Возможно, что я слишком горячился, вторгаясь во все дрязги, но я не стеснялся в средствах, когда дело касалось жизни и работы завода, когда речь шла о жизни и смерти печей. Я допускал самые жестокие меры, когда увидел, что горные инженеры не уймутся, не дадут мне установить порядок в шахтах. Нужна была ампутация, нужно было изгнать дезорганизаторов из шахт, — и я не остановился перед этим при страшном ропоте со стороны горных инженеров.

Я прогнал нескольких инженеров, предпочитая исполнительного, но средней руки работника дезорганизатору, если он даже высококвалифицированный человек.

Раздражала меня также профессиональная заносчивость горных инженеров. Многим из них казалось, что никто, кроме них, не сведущ в том деле, в котором они полагали себя специалистами. Для них все инженеры не горняки в горном деле были профанами.

Когда я появился в шахтах, они стали вводить меня в курс дела с ленивым пренебрежением равнодушных экскурсоводов музея изящных искусств, стремящихся отделаться от назойливого посетителя-дилетанта, которому, сколько ни толкуй, все равно ничего не втолкуешь из этого сложного и высокого мира линий, красок и эмоций.

Такое отношение становилось нестерпимым. Помню столкновение с инженером Сергиевского рудника Вишняком. Как только я очутился в шахте, для меня уже не осталось сомнений в том, что крепление выработок всегда было и оставалось одним из самых опасных и, быть может, наиболее опасным местом в забое. Но такова уж была традиция хозяев-капиталистов, не ценивших шахтерские жизни. Большая важность! Ну, завалит, похоронит несколько шахтеров, но зато ведь затраты на добычу руды и угля значительно меньше, чем это имело бы место при механизации, а кроме того, капиталисту всегда ведь легко откупиться от властей за гибель нескольких безвестных шахтеров.

В 1920 году снабжение заброшенных рудников и шахт крепежным материалом, лесом, канатами было совсем ничтожным. Это и послужило поводом Вишняку доказывать невозможность вести работу в шахтах. Меня водили на склады только для того, чтобы убедить, что крепи совершенно нет, а то, что есть, не подходит по размерам.

— Ну разве можно с пустыми руками начать работу в шахте? — обращался ко мне Вишняк как бы с упреком.

Но когда я прошелся по шахтами присмотрелся к выработкам, — я увидел, что с крепежным материалом дело обстоит не так плохо. Я увидел, что используется крепежный материал безрассудно, преступно. В деликатной форме я указал на это Вишняку. Тот обиделся и намекнул, что я ничего не смыслю в этом деле и поэтому так говорю. Вишняк стал мне доказывать, что вообще так оно и должно быть, что крепи используются так, как это установлено уже годами.

Но именно этот порядок вещей надо было нарушить, чтобы он не торчал комом в горле, не мешал вдохнуть жизнь в шахты.

И тут ошетинились буквально все горные инженеры:

— Нас никто не может заставить работать, когда мы уверены, что этого делать нельзя. Этот Бардин — преступник, задумавший при таком развале добывать уголь! Вы хотите, чтобы шахты работали, — дайте канаты, лес, а без этого мы будем заваливаться и работать не сможем.

Такова была формальная аргументация, которая в конечном счете должна была оправдать нежелание работать, оправдать саботаж.

Увольнение нескольких саботажников помогло наладить отношения с остальными инженерами, желавшими отдать силы на восстановление шахт. Дело сдвинулось с мертвой точки. Хотя с крепежным материалом было действительно тяжело, тем не менее, при известной маневренности, дело постепенно можно было наладить. Буквально каждый кусок каната, каждое бревно были взяты на учет и извлечены оттуда, где они меньшегодились бы.

Наиболее тяжелой задачей оказалась откачка воды из шахт при отсутствии исправных насосов. Вывозил энтузиазм шахтерской массы, не жалевшей своих сил, не щадившей себя, работавшей день и ночь бескорыстно, безропотно, лишь бы давать уголь заводу.

Помаленьку завод работал, находясь, правда, в постоянной тяжелой нужде. Нехватало всего: и топлива и руды, не было хлеба, чтобы кормить рабочих. Хлеб находился в ведении кооперации, которая распределяла его по количеству иждивенцев. Недостаток хлеба и других продуктов питания толкал людей на отхожие промысла. Какой-нибудь из сознательных рабочих, которых тогда было достаточно, имея продовольственную карточку и справку о работе на заводе, постоянно «хворал», числился больным, а на самом деле путешествовал из края в край, развозил в своем мешке или баульчике куски железа, зажигалки, ножи, лопаты и привозил хлеб, муку, мясо, сало.

Но что говорить об отдельных рабочих, когда и завод занимался теми же делами, но уже в организмовном порядке и в большом масштабе. Достать гвозди было тогда так трудно, как найти хлеб и мясо. Гвозди и оконные петли могли обеспечить завод хлебом.

И, катая рельсы, толстый лист и мелкосортный металл, мы завидовали одновременно тем мелким производствам и предприятиям, которые могли делать гвозди.

И вот мы задались целью организовать у себя при заводе гвоздильное предприятие. Всеми правдами и неправдами мы получили разрешение в ВСНХ перетащить к себе из Луганска оборудование для производства гвоздей, и дело закипело в наших руках. В течение месяца был пущен маленький гвоздильный заводик,

Наше предприятие имело сногшибательный успех, мы развернули торговлю не на шутку.

Завод, имел собственные паровозы и вагоны. Мы грузили свой поезд с железом, гвоздями, проволокой и всякой всячиной и отправляли это добро куда-нибудь в Таврию или на Кубань. Там шел товарообмен и бойкая торговля. В результате тот же поезд доставлял заводу хлеб, яйца, масло, картофель. Мы ввели у себя на заводе натуральное хозяйство, которое имело и обратную сторону медали — разлагало людей.

На заводе появились какие-то ловкачи, юркие молодые люди, различные «специалисты» по снабжению, классический тип вертлявых мошенников, пройдох и плутов, от которых не было отбоя.

Нельзя не вспомнить такого «специалиста» — Сегмена, телеграфиста по профессии, но страшного ловкача в торговых манипуляциях. Но его превосходил в ловкости некий Петренко, оказавшийся настолько опытным продувным в товарообменном деле, что его даже пришлось именно за его ловкость защищать перед рабочей массой. В его пользу приводились любопытные доводы, с которыми собрание считалось: конечно, наши агенты плутуют, они самоснабжаются, не обижают себя, но разве другие будут лучше? Поставьте на это дело других, и тех придется убрать по таким же причинам. Зато Петренко мы знаем, сам он железнодорожный машинист, и уж лучше него никого не сыщешь, кто смог бы проталкивать к нам по железной дороге наши продукты. Он, Петренко, уж знает, как обойти

железнодорожников, и угля в пути достать, и поезд пропустить вне очереди.

Все признали, что лучше Петренко действительно никого не сыщешь. И Петренко оставался на своем посту, гордый от похвал.

Не менее успешно и ловко, чем вопросы питания, мы решали и различные затруднения технического свойства. Лишенные возможности получать смазку с Кубани и Дона, неочищенных еще от белых банд, мы выделяли ее из смолы, а приводные ремни мы склеивали и сшивали особым способом из брезента. Наши агенты шныряли по другим заводам юга, вынюхивая в кладовых, что можно взять оттуда для нашего завода. Получить на это разрешение ВСНХ не представляло большого труда, так как другие заводы стояли.

В заглохшей группе южно-металлургических заводов наш Енакиевский завод был единственным, который работал «полный ходом». Работала шестая доменная печь, в двух мартеновских печах варилась сталь, мы прокатывали рельсы, лист. Работой мартена мы гордились, потому что получили устную похвалу Ильича.

#### *ГЛАВА IV*

Одно небезынтересное событие чуть было основательно не поколебало налаживающуюся жизнь завода.

Уже несколько месяцев мы работали при советской власти. Мы видели, что эта власть утвердилась прочно, надолго, что уже никакая сила не сможет ее опрокинуть. Правда, еще шли горячие бои за Перекоп. Белый зверь, приговоренный неумолимою историей к смерти, еще держался на ногах, хотя силы его уже иссякали. Израненный, истекающий кровью, он еще рычал, засев в своей последней перекопской берлоге.

Но конец белых был неизбежен, как неизбежна смерть при старческой дряхлости. В предсмертной судороге издыхающие белые сделали отчаянную попытку схватить коченеющими пальцами молодое тело революции.

Случилось это в сентябре 1920 года. Значительному кавалерийскому отряду белых удалось внезапно прорвать перекопский фронт. Обходными путями по линии железной дороги он добрался до станции Караванной, расположенной от Енакиева километров за сорок. На Караванной находился тогда снарядный завод. Он, правда, не работал, но на его многочисленных складах хранилось немало боевых снарядов.

В расчеты белых, придавленных к перекопскому валу Красной армией, входило, повидимому, разведать состояние красного тыла и, если это удастся, произвести одновременно чувствительную диверсию.

В ночь на двадцатое сентября диверсионному отряду удалось пробраться к Караванной.

Сняв и уничтожив патруль, белые подожгли артиллерийские склады.

Чудовищные громовые раскаты потрясли воздух. Вздогнула, затряслась, как в лихорадке, земля. Сто тысяч рвущихся снарядов, сумасшедшая сила пороха, огня и металла взлетела в воздух и на двадцать-тридцать километров вокруг Караванной начала потрошить достаточно уже до того расстрелянную, измученную гражданской войной землю.

Лопающийся тревожный гул ударов, как гром среди ясного неба, разразился над Макеевкой и Юзовкой. Здесь услышали странную и непонятную артиллерийскую пальбу. Слегка оправившиеся, позабывшие было уже гражданскую войну люди растерялись.

Особенное волнение охватило инженеров, представителей старой технической интеллигенции, людей в то время в массе не совсем расположенных к большевикам, еще крепко связанных с капитализмом, политически неуравновешенных и трусливых.

Снаряды рвались всю ночь и весь следующий за нею день. И все это время над Макеевкой и Юзовкой стонал и ухал от громовых ударов воздух.

Среди инженеров началась паника. Они заволновались не на шутку: «Неужели опять перемена власти?»

Но толком никто ничего не знал, а гул разрываемых снарядов не утихал, и в слабые, неустойчивые сердца инженеров запали тоска, недоумение, страх: «Что, если опять придут белые, что будет тогда с нами?»

От этих мыслей становилось нерошо. Надо было обезопасить себя, уйти куда-нибудь, спрятаться на некоторое время, переждать где-нибудь в стороне, чтобы в случае нужды сказать: «Меня здесь не было при большевиках, я чист и ни в чем перед вами не повинен».

Инженеры всполошились не на шутку. Бросая завод и захватив с собой ценное и необременительное из имущества, они начали удирать из Макеевки и Юзовки. Людей гнал ботчетный страх, панический ужас перед неизвестностью, боязнь репрессии, страх за свою жизнь.

Многие из беглецов очутились в Енакиеве. Они прибежали к нам перепуганные насмерть, сея панику и среди наших инженеров.

— Белые наступают, — рассказывали они в тревоге. — Они движутся с Караванной на Юзовку и Макеевку, они сыплют снарядами, как горохом. Земля стонет от ударов.

Приуныли и наши инженеры.

Мне показалась странной вся эта история. Откуда, недоумевал я, взяться вдруг белым в этих местах? Так внезапно из-под земли не могла ведь вырасти целая армия. Во всяком случае до последней минуты об этом никто не слышал. Ежедневно мы читали газеты, но ничто не указывало на наступательное оживление белых, наоборот, все говорило за то, что им приходит конец у Перекопа, что они делают невероятные усилия, чтобы сдержать штурм и натиск несметной силы революционного народа, могучий напор Красной армии, которая не сегодня—завтра сломит «черного барона» навсегда и потопит его в море.

Но что же тогда все это могло значить? Как назло и местные власти ничего нам объяснить не могли, пребывая так же, как и мы, в полном неведении.

Все новые и новые беглецы прибывали к нам, распространяя нелепицы о непрекращающемся артиллерийском обстреле. Я опасался, что эти настроения вконец дезорганизуют работу завода, и решил немедленно отправиться в сторону Караванной, чтобы самому все как следует разузнать.

Директором завода был тогда Щербина — старый енакиевский рабочий-слесарь. Я отправился к нему, чтобы поставить его в известность о своем решении поехать к Караванной. По правде сказать, я не был уверен, что Щербина согласится отпустить меня в такой момент. Он ведь видел, что инженеры всполошились, трусились, расстерялись, что многие из них подумывают о побеге, и я допускал, что он и меня может заподозрить в желании улизнуть.

- Что за чертовщина с этим обстрелом?! — воскликнул Щербина, как только я вошел в его кабинет. — Непонятно все это, — развел он руками. — Ну, откуда вдруг взяться белым? А?

- Да, странно что-то, — согласился я с ним. — Я вот решил поэтому поехать посмотреть, что собственно произошло. Если действительно что-нибудь серьезное, то нам, наверное, придется предпринять какие-нибудь меры, чтобы не пострадал завод.

Я думал, что ответит мне на это Щербина.

- Поезжай, Иван Павлович, — посоветовал мне Щербина. — Бери лучших лошадей, скачи галопом и разузнай всю эту канитель.

Пара добрых лошадей в какие-нибудь полтора часа промчала меня километров за двадцать пять в сторону Караванной. По дороге мне часто встречались люди с узлами, у которых я ничего путного разузнать не смог.

Наконец, и я услышал взрывы. Продолжающие падать снаряды рвались с большой силой. Но никакого движения воинских частей я не приметил. Ничто не указывало на наличие фронта в этом месте. Но почему же все-таки рвутся снаряды? И откуда они взялись, в самом деле?

Узнав о том, что никакого наступления белых нет, что это горят подожженные врагами артиллерийские склады Караванной, я поспешил обратно в Енакиево.

К моему великому удивлению в Енакиеве царил полнейший хаос. За несколько часов моего отсутствия я не узнал города. Улицы были забиты подводами, груженными различным домашним скарбом. На узлах сидели женщины, старики и дети, из магазинов спешно грузили на подводы кожи, мануфактуру, мешки с просом, город и заводской двор напоминали встревоженный эвакуирующийся военный лагерь.

Что за чепуха? Я стоял, ничего не понимая. Кто сеет панику? Но по мере приближения к заводу я все яснее различал усиливающиеся удары, напоминающие разрывы снарядов. Совершенно ясно, что взрывы шли откуда-то с завода. Предчувствуя что-то недоброе, я изо всех сил хлестнул лошадей и помчался на завод.

На заводском дворе раздавалась страшная канонада.

Взвинченные слухами о наступлении белых на Макеевку и Юзовку и услышав внезапные взрывы над самым заводом, многие наши люди поддались панике и, как ошалелые, в беспамятстве бросились бежать из города...

Каких невероятных трудов стоило смягчить волнение! Как стыдно было нашим инженерам, когда недоразумение разъяснилось!

Дело в том, что Енакиевский завод был одним из заводов, который работал на газомоторном хозяйстве. Особенность работы на газомоторах заключается в том, что, если серьезно расстраивается нормальная работа доменной печи, газомоторы начинают оглушительно и резко стрелять. Беда, если в горн попадет вода: там образуется водород, который дает оглушительные взрывы.

По несчастному стечению обстоятельств, в тот именно день на заводе и случилось несчастье. Был ли то злой умысел, или по какой другой причине, но каким-то образом струи воды через фурмы попали в горн. Расстроенные газомоторы начали пальбу, оглашая воздух артиллерийской канонадой.

Эта особенность газомоторов была неизвестна многим, даже инженерам. Расстроенную работу газомоторов они приняли за артиллерийскую стрельбу. Им было стыдно за свою слабость и малодушие.

Но возвратимся к металлу, раскиданному вокруг Караванной столь неожиданным стечением обстоятельств. Ведь это было огромное богатство, которым нельзя было пренебрегать. Шутка сказать! Сто тысяч снарядов валялись на земле. Драгоценный металл! Великолепная пища печам, заводу.

Мы решили разгрузить все уцелевшие на Караванной склады. Там еще можно было собрать немало незаряженных снарядов и отдать их на переплавку в мартеновских печах. Но неизмеримо больше металла можно было собрать в поле. Рабочие были подняты для этой цели. Мы собрали около ста вагонов высококачественной стали для мартеновских печей, аммонала для взрывных работ и белого металла для других целей.

Завод получил неожиданное подкрепление, и работа пошла живее.

К нам потянулся народ с других заводов. Появились старые опытные металлурги. Они пришли на завод потому, что не хотели сидеть сложа руки, они увидели, что закипает новая жизнь, оживают домны, заводы, и их потянуло к печам, к прокатным станам, к захватывающему процессу, который совершается в пылающих домнах и мартенах. Ведь металлургия — это такое романтическое производство, которое может захватить так же, как сцена, как завоевание воздушных пространств.

На заводе собрался довольно приличный штат инженеров и техников. Многих из них я знал давно, работал с ними по многу лет. Это были люди, фанатически влюбленные в металлургию, и именно с такими людьми, я знал, завод быстро разовьется и зашагает вперед на окрепнувших ногах.

Дыхание — симптом жизни. Енакиевский завод во многом напоминал изношенную, изрядно потрепанную машину. Но завод работал. Он дышал — значит, жил. Различные комиссии, ощутившие в нем биение жизни, как саранча, как мухи на мед повадились к нам на завод. В бошинстве эти комиссии состояли из чуждых производству профанов и старых специалистов, примазавшихся к советским учреждениям, враждебных оздоровлению народного хозяйства страны.

Помню такую залетную обследовательскую птицу, доменщика Джензяна, обесславленного в свое время Курако.

При революциях, как и при морских бурях и штормах, на поверхность выносятся иногда всякий мусор. Джензян был одним из тех старых инженеров, кто случайно всплыл на поверхность, чтобы замуроваться в верхушечных учреждениях. В первые годы жизни советской власти, не располагавшей еще собственной, протарской, технической интеллигенцией, в такого рода инженерах, как Джензян, недостатка не было. Они залели пауками в широко раскрытые двери советских учреждений и там плели паутину обмана, саботажа и шарлатанства.

Появившийся на заводе Джензян был на вид невзрачным, потрепанным старичишкой, облачившимся в комсарскую кожаную тужурку, под которой жило однако гаденькое подленькое сердце старого технического пройдохи. Свою обследовательскую работу он начал с придирчивой критики всей нашей деятельности на заводе. То была критика ехидная, недружелюбная, вражеская критика, сознательно рассчитанная на дезориентацию людей на заводе.

Осторожно, тихо, выгибаясь вьюном, Джензян убеждал инженеров:

— Вся ваша работа ни к чему теперь. Вы — островок среди замершей промышленности Советов. Как бы вы ни старались, вас все равно поразит общая гангрена разрухи. К чему же вам расточать свои силы напрасно!

Вскоре на завод пожаловала к нам еще одна комиссия, направленная Троцким и возглавляемая Калниньм и Шатуновским.

Члены этой комиссии прибыли в комфортабельных салон-вагонах, обставленных слишком роскошно по тому времени. Комфорт и роскошь обстановки невольно создали атмосферу отчуждения между нами и комиссией. Разговаривали члены комиссии языком, чуждым заводским людям. Они совсем не пожелали вникнуть во все детали нашей жизни на заводе.

Наши рассказы о том, как мы отстояли завод от неизбежной разрухи, рассказы о бессонных ночах, которые мы проводили в борьбе за безостановочную работу доменной печи, члены комиссии выслушивали пренебрежительно.

- Ну что там двести пудов чугуна в сутки. Экая невидаль, нашли чем хвастать.

Но разве мерой тут должен быть пуд или даже тысячи пудов чугуна? Нет, нам не нужна была похвала, не для этого мы работали. Как можно было не уважать старания инженеров и энтузиазм измученных и голодных рабочих?

Ведь в каждом фунте чугуна был кусок нашего сердца.

— Как много общего у этих обследователей с Джензяном, — думал я возмущаясь.

Не побывав даже на заводе, комиссия отбыла из Енакиева. Вскоре в центральной печати появилась статья Шатуновского. Она была пропитана ядом иронии и насмешек. Грубо и бестактно в ней издевался Шатуновский над нашим энтузиазмом, а нашу гордость — доменную печь — назвал самоваром, который необходимо погасить.

Мы были подавлены таким несправедливым приговором. Наши люди недоумевали:

— Похоже на то, что статью писали люди, провоцирующие разруху народного хозяйства. Иначе нельзя назвать требования погасить домну, потушить печь, которая оживляет рудники, работа которой спасает завод от смерти.

— Это требование напоминает подстрекательство Джензяна погасить желание честных инженеров — работать на Россию.

— Да, нечего сказать, порядочный ушат помоев плюхнули на наши головы. Все это

очень и очень странно.

Ничего в этом странного не было. Последующие затем годы показали, что позиция Троцкого в вопросах разрушения народного хозяйства была последовательной.

Я не политик. Я инженер. Я плохо разбирался тогда в той острой борьбе, которую вела партия Ленина и Сталина с предателем Троцким. Мне казалось, что эта борьба носит отвлеченный характер, что борьба эта теоретическая и недоступная пониманию специалистов, а потому мало меня касающаяся. Мне, как и многим беспартийным интеллигентам, казалось, что борьба внутри партии большевиков не имеет решающего значения для восстановления страны.

В то время меня убеждали только простые и ясные факты: совпадают ли интересы советской власти с моими устремлениями инженера?

В старое время я и мои товарищи беспредметно предавались несбыточным мечтам и чудесным грезам о русской стране — могучей, обновленной, культурной. Но старый строй разбивал фантазии прогрессивной части русского инженерства, и, подавленные, скованные в своих стремлениях, мы чахли, угасала наша фантазия, мы разучились мечтать.

Советская власть разбудила мои мечты. Партия большевиков начертала на своем знамени идеи борьбы за цветущую родину, и я стал под это знамя. Я начал работать, отдавая всего себя без остатка. По крохам мы восстановили завод, возрождая его.

А тут на завод приезжают люди, выступающие от имени советской власти, и эти люди компрометируют идею этой власти в глазах инженеров, грубо насмехаясь над нами, оплевывая нашу скромную, но тяжелую работу на поддержание жизни завода для нужд страны.

— Для чего это им нужно? — задавал я себе вопрос. — От чьего имени говорят эти люди? Таковы ли действительные интересы советской власти?

— Нет, нет, — подсказывало сознание. — Недаром же Ленин борется с Троцким. Повидимому, партия, созданная Лениным, права. Значит, есть точки соприкосновения у меня, беспартийного инженера, с интересами партии большевиков. Троцкий тормозит восстановление промышленности, он тянет страну назад, и это противоречит линии партии, это не в интересах Советской России. Но это задевает и меня, инженера. Значит, Троцкий борется против лучших чаяний и надежд, прогрессивных представителей русской технической интеллигенции.

Комиссия Троцкого, приехавшая к нам на завод в конце 1921 года и так бесцеремонно надругавшаяся над нами в печати, была, должно быть, пробным камнем той строго продуманной и последовательной линии, какую вел Троцкий на ослабление и срыв промышленной мощи страны. Буквально на следующий день после окончания гражданской войны, когда партия Ленина бросила клич народу — вооружиться на борьбу с разрухой, когда, засучив рукава, великий советский народ взялся за оживление крови и сердца страны — промышленности, транспорта, шахт и рудников, — Троцкий и его сподручные повели подкопную атаку и, как грызуны, бросились пожирать даже те немногие заводы, которые тогда работали.

В конце 1922 года к нам на завод приехала из Москвы еще одна комиссия, снаряженная Троцким. В этой комиссии было несколько старых специалистов, безучастных к судьбе советской власти и мало надеявшихся, что эта власть будет долго жить. В душе «старички» вздыхали по старым хозяевам, полагая, что если большевики и протянут какой-нибудь срок, то уж во всяком случае тяжелую промышленность восстановить не сумеют.

— Пороху не хватит, — твердили старые специалисты, пряча в кармане злобный кукиш против большевиков. — Придется позвать на помощь прежних хозяев, передать дело в их руки — вот тогда пойдет все на лад.

Боясь высказывать такие мысли вслух, «старички» проводили нужную им техническую политику — консервации производства, приглушения инициативы инженерства, робко начавшего честно работать с большевиками. Эта политика раздражала

рабочую массу, болевшую за завод.

Троцкий прямо не говорил, что заводы надо вернуть хозяевам. Он только звал иностранцев «володеть ими». Но ведь русская промышленность раньше принадлежала варягам. Советский народ не имел никакого желания звать ни отечественных, ни иностранных хозяев. Троцкий требовал закрытия заводов, которые-де разорят страну. Он выдумал свою порочную для промышленности теорию «жестокой концентрации».

Как удивительно совпадала линия Троцкого с вожделениями старых специалистов, враждебных советской власти!

Комиссия приехала на завод в неудачный для нас момент. Был декабрь. Морозы стояли крепкие. Рудники и шахты сильно заносило снегом. Сугробы снега, заметавшие подступы к шахтам и железнодорожным путям, не позволяли нам подвозить уголь. Завод поэтому несколько дней работал плохо. Это и был подходящий повод для нанесения удара заводу, которым комиссия поспешила воспользоваться.

Выводы были для нас самыми неутешительными. Удар был нанесен жестокий и непоправимый. Завод решили закрыть.

Я был растерян и уничтожен! Какая несправедливость! Какое неслыханное преступление! Я протестовал — нельзя уничтожать живой, работающий завод. Заводу надо дать развиваться. Все было напрасно. Я не знал, что такова была политика вредителей-инженеров, работавших в комиссии, что такова была задача, поставленная перед ними Троцким.

Какая ирония! В конце концов, я сам привез приказ о закрытии завода. Для рабочих это был удар камнем по голове. Рабочие волновались и митинговали. Они думали, что я виновен в этом преступлении. Карикатуры в заводском журнале изображали меня злорадным, мчавшимся на лихой тройке с громадным замком в руках, чтобы закрыть завод.

Но мне было не до шуток. На душе было грустно и тяжело. Точно огромным камнем, придавило мне грудь. Я задыхался от разочарования и невыразимой тоски и боли.

В солнечный майский день 1923 года были потушены все печи, котлы и мартены. Завод замер. Перестало биться его кипящее сердце.

В этот день я уехал из Енакиева. На душе была осень. Я долго неотрывно смотрел на удалявшийся силуэт завода, на котором прошла значительная часть моей жизни и который, точно кусок живого мяса, оторвали от моего сердца.

Легко представить, с каким тяжелым настроением я уезжал из Енакиева подальше от обидных воспоминаний. В те минуты все мне рисовалось ужасно унылым и беспросветным. После завода все казалось скучным и мало интересным. Не хотелось браться ни за какую работу.

Но меня ждал сюрприз. Мой бывший директор Иван Межлаук, не меньше чем я огорченный преступлением, совершенным против живого, действующего завода, писал из Москвы, что выхлопотал мне поездку за границу в Европу.

Желания ехать не было. И я не поехал бы, если бы надеялся, что завод опять начнет работать. Но надежд на это было мало. Для меня вдруг не оказалось никакого дела, вот и решили: пусть человек посмотрит европейскую технику.

Но именно с этой стороны момент для поездки был мало удачен. Была осень 1923 г. Потрясенная Европа переживала небывалый послевоенный кризис. Костлявая рука голода держала за горло миллионы безработных.

Промышленная жизнь Европы замерла. Парализованная Германия жила, точно в бреду. Страна порядка и хваленой немецкой аккуратности стала страной хаоса и беспорядка, а немцы выглядели растрепанными и униженными. Революционный взрыв был неизбежен со дня на день.

Я не увидел ни чистеньких, умытых улиц Берлина, ни самодовольных и кичливых немцев. Всюду царила грязь и запущенность.

Нищие, голодные, оборванные люди бесцельно слонялись по улицам. Обычная

картина: угол квартала, инженер. Его лихорадочные глаза умоляют вас купить логарифмическую линейку. некогда он ею зарабатывал себе на жизнь. Она не нужна ему теперь. Он предлагает свои услуги для выполнения любой работы за кусок хлеба. От денег он отказывается. К чему немцам марки, которые ведут себя, точно ошалелые.

Небывалая инфляция поразила немецкое хозяйство. В день моего приезда доллар в Берлине котировался в шестьдесят тысяч марок, в день отъезда — через два месяца — он стоил уже три миллиарда марок.

На заводах картина была еще более удручающая. Заводы не работали. Заглохшие, стояли они с потухшими топками. Из 54 доменных печей, осмотренных мною в Руре, работали только 2.

Ничего, кроме нищеты и голода, не мог я увидеть в Германии, подавленной послевоенным кризисом. Я решил не задерживаться в этой стране разрухи и отправился в Англию. По дороге я остановился в Льеже. В этом фабричном бельгийском городе, покрытом сажей и копотью, жили мои старые знакомые: Рено, Брешар, Френ — инженеры, с которыми я когда-то работал в Енакиеве. Они долго жили среди русских. В России они служили хозяину — соотечественнику, жили там своей тесной бельгийской колонией. Когда пришла революция, когда юг России охватило пламя гражданской войны, бельгийцы уехали к себе на родину. Любопытно было посмотреть, как они живут и работают здесь. Остановился я у Рено. Он был наиболее симпатичный: очень спокойный, рассудительный и мягкосердечный человек. Женат он был на русской. Она забросала меня вопросами. Не давая передохнуть, требовала рассказать о России как можно подробнее.

Бельгийцы решили показать мне свою металлургическую промышленность. Мы поехали на завод. По грязи, сутолоке и неорганизованности, царившей на заводе, это был кусочек старой России на бельгийской земле, ничем особенно не поражающий. Да и могла ли меня поразить отсталая металлургическая техника Европы после работы на первоклассных и самых передовых заводах Америки?

Я ничем не высказал своего восхищения перед бельгийцами. Это их несколько задело.

— Тогда, быть может, вы нам расскажете о России? — попросил бельгиец, начальник коксового цеха льежского завода, желая, повидимому, меня задеть, — у вас должно быть там много нового?

— Да, нового не мало, — ответил я. — У нас теперь все ново: и люди порядки — вся страна обновляется.

— Ну, вот видите, оказывается, у вас там много перемен, а мы здесь в полном неведении относительно всего этого. Уж вы извините нас, ведь мы так далеко живем...

Бельгиец ехидничал, но я сделал вид, что не замечаю его тона.

— Ну, а в Енакиеве, как там дела

— В Енакиеве дела не плохи, работаем помаленьку, — ответил я.

— Работаете? — еще ехиднее переспросил бельгиец.

— Да, работаем.

— Странно, — сказал он насмешливо. — И давно это вы так работаете.

— Порядочно.

— Значит вы порядочное время уже не работаете, — рассмеялся он, — по крайней мере, все то время, как завод прихлопнули в вашей обновленной стране.

Меня поразила осведомленность иностранца. Я чувствовал в нем человека, за иронией которого скрывается злобное отношение к моей родине, и мне хотелось дать ему достойную отповедь. Но я только сдержанно сказал:

— Да, завод остановлен. Это верно. Но остановлен он потому, что мы собираемся его реконструировать, переделать, обновить шахты и рудники и пустить его на новой базе.

— Ловко вы выкручиваетесь, коллега. Однако то, что вы говорите, не соответствует действительности. Хотите знать, почему завод остановлен? Да потому, что заводом некому руководить, потому что уехали мы — настоящие его хозяева. Он лишен головы, и потому у него подкосились сноги. Вот в чем дело.

Последние слова бельгийца показались мне знакомыми; что-то похожее о хозяевах поговаривали и некоторые наши старые специалисты.

— Ваши рассуждения, — возразил я, — звучат, как обида задетого за живое и заинтересованного человека. Это вы, именно, заблуждаетесь. Мы великолепно справляемся со своими задачами. Мы ведь молоды, и в этом наша самая большая сила и преимущество. Мы достаточно твердо уже стоим на собственных ногах. Но что самое главное — нами руководит очень мудрая и светлая голова.

— Позвольте вас спросить, что это за голова и кого вы имеете в виду?

— Я имею в виду советскую власть, которая уже показала миру, но еще больше покажет со временем, как надо двигаться по пути прогресса. Вы почитайте соответствующие документы и увидите, что именно в этом и состоит живая плоть программы большевиков.

— Эге, месье инженер, вас, повидимому, распропагандировали эти самые большевики, — бросил с раздражением бельгиец.

— Вы ошибаетесь, — ответил я с достоинством. — Меня просто убеждают факты.

Бельгиец построил надменную физиономию, он не намерен был дальше объясняться с большевиком. Меня это рассмешило. Оставаться далее в Льеже не было никакого интереса. Я торопился в Люксембург, где жил инженер Толли. Когда-то мы с ним были приятелями. Это было на юге России еще во времена, когда там гремела слава Курако. Этот человек научил нас ненавидеть российское варварство. Когда-то мы вместе отдавались мечтам о технической революции в России. Мы были молоды, наша кровь бурлила, и мы жаждали увидеть когда-нибудь нищую и отсталую родину цветущей и обновленной.

Толли не хотел оставаться работать с большевиками. Он покинул Россию и очутился в маленьком Люксембурге.

После нескольких лет разлуки мы встретились холодно, осматривая друг друга со сдержанным любопытством.

В ресторанчике, куда мы отправились пообедать, Толли все время молчал, внешне не проявляя большого интереса ни к тому, что я приехал, ни к переменам и новостям из России. Он только переспросил о некоторых своих прежних приятелях. Нокогда уже было выпито несколько рюмок вина, Толли оживился. Как бы изучая, он некоторое время смотрел на меня пытливо, а затем неожиданно спросил:

— Скажите правду, Бардин, зачем вы приехали сюда?

Меня удивила беспокойная нотка его вопроса. Я ответил:

— Я приехал в командировку, знакомиться с европейской техникой. А в Люксембург заглянул, чтобы посмотреть на вас и узнать, как вы живете. А что вас так обеспокоило? — заинтересовался я.

— Ничего особенного. Значит вы только за этим и приехали?

— Да.

— Ну, хорошо, — сказал с облегчением Толли.

Я удивился, не понимая, что собственно тревожит его.

— Потом я вам все объясню, — заметил Толли. — А теперь расскажите мне о себе, как там у вас?

— Что же рассказывать. Я был управляющим заводом. Ну, у нас там вышли кое-какие недоразумения, и, покуда все уладится, я успею познакомиться с техникой Европы, а затем вернусь домой, и начнем раскачивать все по-настоящему.

К моему рассказу Толли был безучастен. Я говорил, он слушал из вежливости. Это было в его натуре не интересоваться тем, что не касается его лично.

— Это очень хорошо, — заметил он рассеянно. — А впрочем...

Толли прикоснулся к бокалу вина.

— По-моему, вы не совсем счастливы, Бардин. Вы не мотайте головой. Предо мной вы во всяком случае можете не скрываться.

— Вы выражаетесь не совсем точно, Толли. Почему вы думаете, что я несчастлив? Наоборот, я доволен судьбой.

Толли задумался.

— Хотите, я объясню вам, почему заинтересовался вашим приездом в Люксембург?

— Да, любопытно знать.

— Видите ли, — начал Толли, — Люксембург — не Америка и не Россия. Это крохотная страна. Заводов здесь, сами видели, раз, два и обчелся. Так что человеку нашей квалификации здесь очень трудно будет устраиваться. Теперь возьмите меня: я человек свой, хозяева мне очень многим обязаны. А сколько труда надо было потратить, пока я получил приличное место. Я уже думал было бросить свою специальность, до того тошно стало ходить без дела. Но на мое счастье случилась беда: паровозом зарезало начальника доменного цеха, я получил его место.

Когда-то я знал Толли живым, остроумным, хорошо образованным и приспособленным для светского разговора человеком. Питомец своей среды «благородных кровей», он был человеком воспитанным. Эта фраза «на мое счастье паровозом зарезало начальника доменного цеха, и я получил его место» вывернула передо мной наизнанку «европейское благополучие».

Толли показался мне таким жалким!

Так вот в чем дело! Он, оказывается, боится конкуренции. Ну, зачем я, в самом деле, приехал в Люксембург? Не окажусь ли я обузой для него? Ведь я человек одной с ним специальности, одних знаний и одинаковой квалификации. Без сомнения, в душе он был обеспокоен и недоволен моим появлением. А вдруг я отобью у него хлеб!

Меня это рассмешило. Я успокоил Толли.

— Да нет же, я прекрасно вас понимаю, Толли, но, уверяю вас, я нисколько не нуждаюсь в Люксембурге. И вообще, к чему вы все это говорите?

— К тому, что в Люксембурге трудно устраиваться на работу.

— Ну, и шут с ним, с Люксембургом. Мне до него дела нет. Я не нуждаюсь в работе за пределами моей родины.

Но Толли мне, повидимому, не вполне поверил. Он опасался, что ему все же придется обо мне позаботиться. Знаете, о чем я думаю, — продолжал Толли после некоторого размышления. — Не худо бы вам устроиться в Англии. А то черт его знает, когда еще в России наладится жизнь. — Толли вдруг оживился.

— Помните такого человека — Смоленского? Он был приемщиком в Енакиеве. Поехал в Африку начальником каких-то рудников, взяли его туда как европейца, и что ж? Поработал там два года и живет теперь на зависть, поднакопил денег и может существовать на ренту, ничего не делая.

Я с сожалением смотрел на Толли. Я вдруг увидел его очень уменьшенным, таким, каким обыкновенно видят предметы в их обратной проекции в бинокле. Он был далек мне и чужд.

В чем нашел он смысл жизни? Неужели в том, чтобы хорошо поесть и выпить? Как мало нужно этим людям для полного счастья на земле! Завидовать и восхищаться человеком, скопившим деньги и разменявшим работу инженера на ренту мелкого буржуа. Чудак! Нашел чем соблазнять. Нет, мне не нужно Африки, мне не нужно Люксембурга и Англии, мне все чуждо, кроме интересов моей родины.

Родина! Дорогая мне, родная мать! Близкая сердцу отчизна! О нет! Никогда не оторвать меня от русско земли.

Меня охватило непобедимое чувство тоски по родине. С неудержимой силой потянуло домой. Захотелось поскорей услышать настоящую живую, свободную русскую речь. Мне ярко вспомнились незабвенные слова Тургенева: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». Мне захотелось посмотреть на родную Волгу, припасть лицом к советской земле...

И есть ли большая, радость на свете, чем трудиться для блага своей отчизны? Нет.

Только в этом и есть подлинное счастье человека. Я был охвачен этими чувствами. Мы оставили ресторан, и я распрощался с Толли.

Меня переполнила гордость за мою родину, за ее молодость. Ведь она начинает только жить, и сколько там широкого простора для плодотворной деятельности.

Молодость ведь счастлива тем, что она имеет будущее.

## ГЛАВА VI

Некоторое время по возвращении из Европы на родину я работал в «Югостали», а затем в конце 1924 г. уехал в Макеевку. Макеевский завод долгое время бездействовал, и там никак не удавалось наладить пуск и нормальную жизнь доменных печей.

Коммунисты завода собрали вокруг себя квалифицированных инженеров и техников. Благодаря самоотверженности и героизму передовых рабочих завода и инженеров, нам удалось в конце концов задуть печи.

На Макеевке я проработал всего 9 месяцев и перешел затем на Дзержинку. На этом заводе работал главным инженером около 5 лет до 1929 г. Это были годы восстановления народного хозяйства страны. Советский народ накапливал силы для исторического перехода на широкую дорогу индустриализации. Работа на Дзержинском заводе была для меня во многом интересной. Помимо общих задач восстановления завода, мы провели на Дзержинке в 1927 г. трудный и интересный эксперимент: 50-тонную мартеновскую печь переделали на стотонную. По тому времени это была первая мощная стотонная мартеновская печь в России. Работа по реконструкции печи научила меня многому. Здесь нужны были технические искания, нужна была смелость в экспериментировании, и мы разрешили эту задачу с честью.

Еще более интересной оказалась постройка коксовых печей на Дзержинке. Это уже была новая металлургическая техника, которая начала проникать в Советскую Россию из Европы и Америки.

Внутри партии большевиков тогда шла борьба вокруг задач индустриализации и поисков путей технического прогресса страны. Я ясно видел, что намечается новая эра в жизни советского народа, что страна стоит на пороге нового поворота в интересное техническое завтра.

## ГЛАВА VII

В жизни каждого человека существуют дни, которые знаменуют собой поворот, начало нового жизненного пути.

День шестого января 1929 г. в моей биографии был тем рубежом, за которым начиналась моя вторая жизнь.

Был я тогда в Харькове. Помню, утром ко мне в гостиницу пришел незнакомый человек.

— Насилу нашел вас. Если не ошибаюсь, вы товарищ Бардин?

— Да, пожалуйста, чем могу служить?

— Я представитель Тельбессбюро, мне поручили поговорить с вами. Одним словом, поедете в Кузнецк?

Предложение поехать в Кузнецк на работу, о которой я в течение всей своей жизни мечтал, было слишком заманчиво. Я понимал, что такое Кузнецк. Это ведь означало построить завод американского масштаба и по американскому проекту.

— Я не прочь поехать в Кузнецк, но отпустят ли меня с Дзержинки?

— Дело не в этом, — ответил бойкий представитель. — Нас интересует, сколько это будет стоить? Одним словом, сколько вы хотите денег?

Вопрос меня разочаровал.

— Меня не интересуют деньги, — сказал я с досадой. — Вы только добейтесь, чтобы меня отпустили в Кузнецк.

— Очень хорошо. Значит, можно сообщить в Москву?

— Да, пожалуйста.

В душе я не был уверен в успехе. Слишком уж несолидно подошел к вопросу о моей работе в Кузнецке представитель бюро, которому поручили переговорить со мной. Этот человек, видимо, полагал, что главное для меня — деньги. Он не заметил, как сильно взволновало меня его предложение.

Спустя некоторое время, я понял, что дело обстоит действительно серьезно. Я получил телеграмму из Учраспреда ВСНХ с просьбой выехать в Москву для окончательных переговоров.

Ждать себя я не заставил. Я помчался в Москву, и через день был уже в ВСНХ, а еще через несколько дней был назначен главным инженером Кузнецкстроя.

Случилось все это так неожиданно и стремительно, что я даже не успел хорошенько разобраться в том, что собственно произошло со мной.

Прежде чем поехать в Кузнецк, я отправился в Ленинград ознакомиться в Гипромезе с проектами будущего завода. В Ленинграде у меня было много хлопот. Следовало рассмотреть уйму разных проектов. Я подсчитывал примерную стоимость работ, выяснял, какая организация может взяться за проектирование прокатного цеха и металлических конструкций для доменного цеха. Одним словом, я сразу же, без промедления, принялся за дело.

Должен сказать, что о постройке металлургического завода американского типа в Сибири разговоры начались еще в 1916 г. На юге была тогда группа инженеров-доменщиков во главе с Курако, которая понимала, в каком тупике находилась русская металлургия. Мы видели, что юг один уже не в состоянии питать железом всю огромную страну. Мы не могли примириться и с отсталостью южно-русского доменного дела. Россия не знала настоящих механизированных доменных печей, все южные заводы строились бессистемно, и в результате получилась кустарщина.

Мы догадывались, что Кузнецкий бассейн, с его огромными запасами углей, может послужить базой для развертывания новой, передовой металлургии. В 1917 г. выдающий русский доменный мастер Курако получил приглашение от сибирского акционерного общества «Купикуз» запроектировать и построить в Кузбассе домны американского типа. Курако взял с собой нескольких инженеров с юга, в числе которых был и Г. Е. Казарновский, и поехал в Сибирь. Захлебываясь от восторга, Курако писал мне, что места в Сибири хорошие, угли прекрасные, перспективы богатые, и в доказательство прислал даже образец кокса.

Началась гражданская война, и наша переписка прервалась.

В 1921 г. я получил от Курако бодрую открытку. Но она шла так долго, что, оказалось, минул уже год, как Курако умер в Кузнецке от тифа.

«Копикуз» перестал существовать в 1919 г. Разведки прекратились, и инженеры группы Курако разъехались в разные стороны.

Но в 1925 г. в стране повеяло новым духом, начались технические изыскания, вновь ожила разведка, заговорили о заводе, возникла проблема Урало-Кузнецкого бассейна. Я следил за ее развитием с большим интересом.

План Кузнецкого завода в том же виде, в каком он строился, создавался нелегко. Еще в 1926 г. в Гипромезе боролись два течения: американское и немецкое.

Вокруг проекта Кузнецкого завода эта борьба разгорелась особенно остро. Я был тогда близок к Гипромезу и во всех дискуссиях принимал горячее участие.

Сторонники немецкой ориентации доказывали, что в Сибири надо строить небольшие, мало механизированные печи, что американский завод где-то на отлете, в глуши, будет плохо работать, что Сибирь является слабым рынком сбыта и потому невыгодно

приобретать для будущего завода дорогое оборудование. Кругозор этих людей из Гипромеза был чрезвычайно узок, но не только там можно было найти таких деятелей, которые мыслили местными, провинциальными масштабами.

Сторонники американской ориентации со своей стороны возражали, что потребность в металле в Советской стране быстро возрастает, что завод будет работать минимум 30 лет, и правильно поэтому проектировать и строить его, исходя из первых 3—4 лет нагрузки. «Американцы» правильно полагали, что не следует бояться мощных агрегатов и больших капитальных затрат. Все это будет оправдано значительным удешевлением продукции.

Тогда не было известно, что за спиной спорщиков и среди них были вредители.

Спор окончательно решило правительство. В области металлургии был взят определенный курс на Америку. Правительство серьезно принялось за дело развития производительных сил страны.

Проект Кузнецкого завода был заказан фирме Фрейн в Чикаго. В 1928 г. этот проект был закончен. Вслед за проектом к нам прибыла и группа работников Фрейна. Она занялась не только Кузнецким заводом, но приняла участие и во всех работах Гипромеза по проектированию и реконструкции нашей металлургии.

Появление американцев в Гипромезе было немалым событием. До этого Гипромез хромал на все четыре ноги. То было хиленькое учреждение, весьма склонное к беспринципной болтовне, не умеющее излагать технические мысли ни письменно, ни графически. Среди сотрудников Гипромеза было много таких людей, которые мало верили в то, что советская власть когда-нибудь займется серьезно строительством крупных предприятий. Они работали с ленцой, в меру дискуссировали, нехотя проектировали, строили узкие планы, над которыми даже посмеивались.

Своей деловитостью американцы помогли всколыхнуть Гипромез. Они дали проект Криворожского завода, а затем и проект Кузнецкого завода. Американцы помогли нам разрешить такие вопросы, как проектирование доменных печей и стандарты, в которых мы были особенно слабы.

С американцами я встречался не впервые в жизни. Их деловитость я знал хорошо. Мне понравились ясные, четкие, подробные и красивые чертежи американцев и их особая манера работать.

Позже, когда я бывал в Гипромезе, я видел, что американцы оставили после себя серьезный след: наша молодежь подучилась у американцев, она заимствовала у них не только знания, но главное и основное — это манеры работать.

Итак, ознакомившись с кузнецкими делами, я поспешил в Москву, чтобы оттуда двинуться уже в дальнейший путь, в Сибирь, где суждено было начаться моей второй счастливой жизни.

Скрывать нечего. Я был горд и преисполнен радости. Комплексное строительство представляло для меня огромный интерес. Постройка целого завода американского типа у себя на родине — не об этом ли я мечтал всю жизнь, не к этому ли стремилась моя душа инженера, да и для всякого инженера это явилось бы счастьем и идеалом.

Никогда в старое время я даже думать не смел о том, что буду когда-нибудь главным инженером на таком большом заводе, и еще менее я мог себе представить, что буду в числе руководителей строительства, подобного кузнецкому гиганту. Практика предыдущих лет давала уверенность, что с работой я справлюсь. Так или иначе, но я имел уже опыт обновления производства на Дзержинке. Здесь при моем участии было начато переустройство завода. Работа была интересная. То были первые опыты механизации в крупном масштабе при советской власти. Мы построили силовую станцию, мощные коксовые печи, химический завод и реконструировали старые мартеновские печи. Это были первые в Союзе стотонные мартены.

Работа в Гипромезе, знакомство с американской техникой, разбор проектов, строительная практика — все это увеличивало знания, расширяло горизонт, внушало смелость в подходе к будущей большой работе, приучало к большим масштабам.

Я был горд и счастлив, что именно на меня пал выбор строить завод в Сибири, в крае, который многих отпугивал своей суровостью и дикостью.

Было еще одно обстоятельство, которое доставляло мне громадное удовлетворение: доверие, которое мне оказала советская власть.

Слишком свежа была еще горечь обмана и предательства интересов рабоче-крестьянского государства со стороны значительной группы старых инженеров. Мое назначение в Кузнецк состоялось через несколько месяцев после исторического Шахтинского процесса. Имена многих инженеров произносились в стране с недоверием, упреком и ненавистью. Тени прошлого таились за спинами старых инженеров. Они, как призраки, неотступно следовали за ними, маня обратно в старый, умирающий мир. Многие мои товарищи, соратники, друзья были арестованы. Они держали ответ перед страной за свои преступления. Мы воспитывались на одних и тех же хлебах, одинаково развивалось сознание и отношение к окружающей действительности.

Но я отвернулся от старого, и и судьба оказалась иной.

В Кузнецк я поехал с большим почетным поручением. Предложение я принял с глубокой благодарностью. Радость переполняла меня. Я вновь переживал юношеский подъем. Казалось, будто вознесли меня на недостижимую вершину, и мне хотелось громко кричать о своем счастье.

Память прекрасно сохранила незабываемый вечер, когда перед отъездом в Кузнецк меня пригласил к себе Куйбышев. Мы были одни у него в кабинете. Валериан Владимирович подробно расспрашивал о кузнецкой площадке, видел ли я ее, что она собой представляет, как, по-моему, должны быть развернуты подготовительные работы.

— А проект Фрейна, как вы его находите?

Я не считал нужным обрушиться с критикой на этот проект и ответил, что идея его во всяком случае правильная.

Куйбышев заинтересовался:

— Нельзя ли увеличить размер доменных печей?

Валериан Владимирович встал и продолжал говорить со мной, прохаживаясь вдоль огромного письменного стола. Часто он взглядывал на меня большими, по-детски чистыми проникновенными глазами. И вдруг он обратился ко мне необыкновенно тепло, дружески:

— В Сибири теперь зима, Иван Павлович, холод, мороз трескучий. А хорошо! Я люблю сибирскую зиму. А вы не боитесь холода? Ведь вы, кажется, южанин. Но в общем, сибирские морозы не так страшны как их представляют себе непосвященные. Там очень интересные места, я их хорошо знаю...

Куйбышев немного помолчал.

— Сибирь, Сибирь! — продолжал он. — Тупые русские цари превратили ее в каторгу, и поэтому Сибирь пугает, она кажется страшной. Недавно я прочитал об этом у Герцена. Вы помните, я сейчас найду вам это место.

Куйбышев достал «Былое и Думы» и начал читать.

— Вот послушайте: «Сибирь имеет большую будущность; на нее смотрят только как на подвал, в котором много золота, много меха и другого добра, но который холоден, занесен снегом, беден средствами жизни, не изрезан дорогами, не заселен. Это неверно. Мертвящее русское правительство, делающее все насилуем, все палкой, не умеет сообщить тот жизненный толчок, который увлек быж Сибирь с американской быстротой вперед».

И дальше:

«Увидим, что будет, когда Америкав стретится с Сибирью».

— Неправда ли, как замечательно, Иван Павлович? Америка встретится с Сибирью. Об этом мечтал Герцен еще сто лет назад. И вот эту встречу устраиваем мы, большевики, наша великая партия.

Конечно строить в Сибири, создавать там социалистическую Америку будет нелегко. Многое будет зависеть от людей. Есть ли у вас такие люди, на которых можно будет

положиться и быть уверенным, что они серьезно возьмутся за дело? Вы имейте в виду, — заключил нашу беседу Валериан Владимирович, — что это глубокая разведка партии и рабочего класса в завтрашний день нашей страны. Это будет замечательное завтра. И это очень почетная задача для инженера. Вам не один из них позавидует.

Куйбышев протянул мне руку:

— Счастливых вам успехов.

## ГЛАВА VII

Я приехал в Сибирь впервые. Долгий далекий путь из Москвы. Большой досуг, много часов для раздумья. В вагоне я думал о последних напутственных словах Куйбышева. Какие замечательные слова! И какой глубокий смысл! «Глубокая разведка в завтрашний день». Да. Страна только вступала в первую пятилетку строительства. Начинались первые, но смелые шаги в будущее. Мне это будущее рисовалось в тумане. Но то поручение, с которым я ехал в Сибирь, я представлял себе отчетливо. Стремление построить крупный завод на родине не покидало меня все годы, и теперь я знал, что именно в Сибири именно при большевиках осуществится моя заветная мечта.

Слова Куйбышева волновали, заставляли думать. Ведь и мне следовало сделать глубокую разведку, разобраться не только в своем прошлом, но и подумать о том, сумею ли я преодолеть, вытравить все коренившееся во мне старое. Кто поддержит меня, на кого мне опереться, хватит ли у меня веры и сил?

Куйбышев верил. Эта вера светила в его глазах, когда он говорил о будущем, о заводе. Этой верой он воодушевлял — мощно, захватывающе, красиво. А ведь он не был инженером.

В чем же была непреоборимая сила его веры, — задавал я себе вопрос. В чем?

В Томске тогда находилось Тельбессбюро, которое занималось подготовительными работами будущего строительства и геологической разведкой. Заместителем главного инженера Тельбессбюро был Щепочкин. Он должен был передать мне все дела строительства. Меня познакомили с инженерами. Их было человек семьдесят, главным образом горные и геологоразведчики. Металлургов и строителей среди них почти не было.

Тельбессбюро производило впечатление богоугодного заведения. Внешне все выглядело гладенько, чистенько. Поскрипывали перья, люди сутились, но делали в сущности немного. Единственно, чем занималось Тельбессбюро удовлетворительно, — это разведкой руд и углей. Зато в остальном здесь все дышало покоем. Темпы работы были замедленные, о строительстве не беспокоились: «неизвестно еще, когда начнется постройка, возможно ее совсем не будет». Проектировали поэтому, не связывая своей работы с реальной действительностью, а с каким-то отдаленным, туманным будущим.

Мне сразу стало ясно, что с этими людьми приступить к серьезной работе нельзя. Я дал им задание заняться проектами временных построек, поручил повести подготовку к строительным работам и уехал знакомиться с районом.

Надо было посмотреть, что представляет собой Кузнецк, какова его производственная и строительная база и, наконец, что такое сибирская действительность, о которой я не имел ни малейшего понятия.

С этой действительностью я столкнулся очень скоро на станции Тайга. Здесь пришлось наблюдать техническую нищету края. Я увидел, как «машиной» подают кирпич на второй этаж. Огромное колесо, диаметром метра в четыре, и в нем человек безостановочно ходит, упираясь ногами в деревянную перекладину, точно белка в колесе.

Нечего сказать! Хороша двигательная сила! Да ведь этой механизации тысяча лет. Я понял, как трудно будет работать с людьми, не имеющими представления о современной технике.

Маршрут я избрал такой: сначала Кемерово, являющееся заводским сибирским

районом. Надо было выяснить, что оставили после себя работавшие здесь американцы, насколько заметно их влияние, какое оборудование можно будет приобрести для строительства. Кроме того я хотел посмотреть, какова работа коксовых печей и химического завода в зимних условиях.

Вторым пунктом, с которым я должен был ознакомиться, был Гурьевский завод — основная база будущего строительства.

И третьим пунктом — Кузнецкая площадка.

Затем надо было заехать в Новосибирск, доложить Крайсовнархозу о своих впечатлениях и ехать в Москву за проектом, заданиями и за людьми.

В Кемерово я ознакомился с работой коксовых печей и коксохимического завода. В городе в это время происходил окружной съезд партии. Я узнал, что сюда прибыл партийный руководитель края, тов. Эйхе, и счел необходимым с ним встретиться. Эйхе принял меня в вагоне. Здесь толпились люди, вызванные для разных переговоров.

Аудиенция была короткая. Эйхе извинился, что не может уделить мне много времени, но к будущему заводу отнесся с большим интересом. Он задал вопрос:

— В какой срок, по-вашему, будет построен завод?

— Я думаю, что четырех лет вполне достаточно.

— Завод надо строить как можно быстрее. Чем скорее вы дадите сибирский металл, тем энергичнее страна будет вам аплодировать.

Эйхе поинтересовался, где я работал раньше. Пожав мне на прощание руку, он просил писать лично о всех делах, связанных со строительством, и обещал оказывать всяческую помощь.

В Гурьевск я ехал томительно долго. Поезд делал частые остановки. Гурьевск мне был уже знаком по рассказам Казарновского. Я увидел, заводик тут неплохой, и работать на нем можно будет. Ознакомившись с программой, я нашел, что гурьевский завод окажет исключительную помощь строительству. Завод вырабатывал огнеупорный кирпич, располагал неплохой прокаткой и приличным механическим цехом. Единственное, что нужно было сделать, — расширить все производство, приспособив для нужд строительства.

Из Гурьевска я отправился в Кузнецк. Приехал вечером. Меня встретил заведующий Кузнецкой конторой Тельбессбюро — Бемус и повез заснеженным полем к единственному тогда двухэтажному дому, бараку коридорной системы. Комнаты почти все пустовали. Полы скрипели при каждом шаге, а щели в них между досками были настолько широки, что из верхнего этажа можно было видеть все, что делалось в нижнем. К счастью, дом оказался чистеньким, и мы спокойно проспали ночь.

На следующий день я поехал на лошадях осматривать площадку. Единственный автомобиль в Кузнецке стоял в бездействии в гараже. Ездить по глубокому снегу на машине было немыслимо.

Занесенная снегом площадка показалась мне довольно ровной, но это был обман зрения. Под снегом скрывалось множество бугров, пней и болот, которые обнаружились потом, когда мы начали копать площадку.

Съездил я и на Томь, где осмотрел кирпичный завод, галечные и песчаные карьеры. Галька оказалась прекрасной.

Руководители сельсовета, с которыми я познакомился в Кузнецке, показались мне довольно бесцветными. Наиболее активно повел себя местный кооператор. Решив, что приехали, наконец, настоящие хозяева строительства, он сообразил, что прежде всего важно получить от них аванс на будущее снабжение. Он пространно толковал о каких-то деликатесах для специалистов и сулил разные кооперативные блага.

Сколько денег он просил, я не помню. Знаю только, что мы ему ничего дали. Кооператор надулся и грозил ничем нас не снабжать. Это было очень комично.

К тому времени на площадке находилось уже человек 200 строителей. Собственно, они ничего не делали, но числились рабочими строительства. Хотя лесу здесь было вполне достаточно для постройки жилья на 200 человек, но бараков для себя они не строили,

предпочитая жить в окрестных деревушках Бессоново и Араличево.

В сравнении с украинскими или волжскими, эти деревни имели жалкий вид. Это были сплошь старые избышки. Люди в них жили очень грязно. В этих деревушках можно было расселить тысячи две народу, если построить новые срубы. Мы решили строить здесь жилье для будущих строителей завода и с этой целью дали доверенность Бемусу скупить все старые избышки для сноса.

Мы сделали большую глупость, выбросив на ветер 200 000 рублей. Крестьяне охотно продавали свое жилье, продолжая однако в нем спокойно проживать, разумно рассчитывая стать в ближайшее время рабочими строительства.

Руководящих работников на площадке было очень мало. Я встретил здесь первого начальника Кузнецкой площадки бравого Алексея Максимовича Морозова. Бывший матрос, братишка, «свой парень в доску». Он в жизни был действительно хорошим товарищем, но на работе человек необузданный, пропитанный вредной партизанщиной. Он запугивал всех разными приказами, наганом, или, падая в истерику, кричал и бил себя в грудь. Кроме Морозова здесь был Дмитриев Борис Дмитриевич — заведующий гаражом, где в зимнем бездействии покоилась единственная машина. На конном дворе, где начальствовал Левсик, было 6 лошадей — основная движущая сила Кузнецкого строительства. Здесь был еще штейгер Пивкин, производивший разведку каменного и песчаного карьеров, удивительно веселый и, несмотря на свои годы, чрезвычайно живой и энергичный человек. Впоследствии он оказался очень ценным работником.

Чтобы начать разворот строительства, нам нужны были люди и техническое вооружение. Но прежде всего нужен был комсостав, люди, которых знаешь, которым можно доверять. Нужны были чертежники, механики, металлурги и строители. Нужны были станки и материалы. Все это приходилось искать, а потом уже стягивать в одно место.

Четыре тысячи километров, отделяющие Кузнецк от Москвы, создавали впечатление оторванности и изолированности от всей страны.

Впрочем, я рисовал себе все гораздо мрачнее, чем это в действительности оказалось. Я думал, что вследствие оторванности от центра мне придется переживать одному много тяжелых минут. Я опасался, что помогать нам не будут, а требовать с нас будут много.

Но этого не случилось. Кузнецк стал в центре внимания всей страны. Сюда были направлены: и люди, и машины, и материалы.

## *ГЛАВА VIII*

В Ленинграде весной 1929 года впервые я познакомился с начальником строительства Колгушкиным. Он оказался очень приятным, грамотным человеком. Видно было, что он не плохо разбирается в делах строительства.

Мы начали работать. Колгушкин взял на себя всю организационную и финансовую часть, предоставив мне свободу в технических вопросах.

Главной задачей первого сезона было подготовиться к капитальному строительству 1930 года. Мы поспешили с распределением заказов на проектирование. Огнеупорный цех сдали Стальпроекту, чему были несказанно рады, — в те годы сдать заказы на серьезное проектирование было трудно. Проект и рабочие чертежи прокатного цеха были заказаны бюро рабочего проектирования при Гипромезе. Впоследствии этими чертежами нам не пришлось воспользоваться.

Оставалось самое главное: договориться о проектах доменного цеха. Это значительно осложнялось отсутствием в стране квалифицированных проектировщиков, знакомых с передовой техникой в доменном деле. Надежда была на Гребенникова и бюро Грум-Гржимайло. Но с ними надо было еще договориться, заинтересовать их, спаять вместе. Это было не так легко.

Все же мы начали переговоры. Бюро Грума отказалось взять на себя проектирование

домен, опасаясь, что не справится с таким необычным заданием. В конце концов уговорили Гребенникова перейти на службу в бюро Грума и дать первые чертежи печей не позже июля. Таким образом мы рассчитывали уже к осени 1929 года послать чертежи для изготовления железных конструкций доменного цеха.

К этому времени Кузнецк все более и более становился центром притяжения общественного внимания страны. Центральная печать наряду с Магниткой заговорила и о Кузнецке, как о крупнейшем объекте индустриализации Советской страны. Это особенно ободряло меня. Я поехал на площадку в приподнятом настроении. Единственно, что беспокоило, — это недостаток людей, с которыми можно было бы немедленно развернуть подготовительные работы.

Хотя к нам обращались с письменными предложениями сотни и тысячи людей со всех концов страны, но подходящих работников среди них было мало.

Кто только ни предлагал нам свои услуги: фантазеры, романтики, рвачи, пылкие юноши и отчаянные старики. Одних увлекала романтическая новизна, героика, слава пионеров, желание проторить новые пути; других — простая грубая жажда наживы.

Нам же нужны были люди самоотверженные, смелые, готовые к любым житейским лишениям, дисциплинированные и упорные в стремлении преодолеть суровые особенности сибирской природы. И прежде всего нужны были квалифицированные строители.

Первые люди на площадке начали появляться с июля 1929 года. Приехал Казарновский, мой помощник по проектированию, прекрасный инженер, хорошо знающий Сибирь, человек которым меня связывала долголетняя и глубокая дружба. С ним прибыл Курчин, смелый, талантливый мастер. С юга я вызвал еще человек 10 инженеров и техников-металлургов, которых знал хорошо по совместной работе.

Аппарат на площадке был немногочисленный и малоквалифицированный. Это были большей частью работники Тельбессбюро, люди малоподвижные, не металлурги, не строители. Бестолковщины было много. Темпы работы развивались медленно.

На площадке, поросшей кустарником и травой, виднелся пустой двухэтажный дом, близ него расположились четыре одноэтажных домика да пять избушек вдаль. Дорог не было. Хотелось посмотреть горный район и увидеть, как там идут дела.

Но как доехать до Тельбесса по законченной развороченной дороге? Туда надо было пробираться верхами сквозь густую чащу с топором и лопатой в руках. Ясно, что прежде всего надо было приняться за прокладку дорог.

Я твердил Колгушкину, что деньги следует сейчас затратить на дороги.

— Рудники еще подождут, — говорил я. — На первое время руду завода мы сможем получать с Магнитки.

Денег у нас было очень мало - всего четыре миллиона рублей. И мы решили минимальное количество средств отпускать на развитие рудника. Строительство рельсовых дорог, а также подсобных предприятий горного хозяйства и, главным образом, сооружение бытовых построек на самой площадке мы всячески форсировали.

Тут дело все больше и больше развивалось. В мае 1929 года на площадке было 300 человек, через месяц полторы тысячи. С каждым днем люди прибывали сотнями.

В июне мы начали планировку площадки. Разметив еще раньше основную базисную линию завода, мы поставили знаки на месте предполагаемых цехов.

Постепенно площадка принимала рабочий вид. Стучали молотки, вспугивая птиц. Вонзая в землю лопаты, люди с трудом взрыхляли окаменелую почву.

Началось сооружение бытовых построек, барачных и контор заводу. Параллельно шла подготовка к разработке каменных карьеров. Крестьяне подвозили камень, гравий и песок. Расширялся кирпичный завод, налаживалась работа Гурьевского завода.

Развертывалась таким образом подготовительная база широкого наступления по всему фронту.

## ГЛАВА IX

Аппарат строителей возглавлял инженер Янушкевич. В мое отсутствие его пригласил на площадку Морозов. Я обрадовался, что появился гражданский инженер. Будет, следовательно, на кого полагаться в строительных работах.

Весной после первого посещения площадки я просил Янушкевича немедленно приступить к испытанию грунтов, без чего невозможно было начать строительство. Янушкевич получил задание разбить ось завода, поставить бетонные знаки и заделать их на незамерзающей глубине. Это было твердое задание, и я был уверен, что все будет сделано именно так, как я указал.

Но мое задание Янушкевич не выполнил. Пришлось повторить приказание второй и третий раз. Это положило начало нашим разногласиям.

Работа в районе, где впервые вздымаются нетронутые пласты и воздвигаются грандиозные сооружения, — не каждому строителю по плечу. Поведение грунтов неизвестно, местные стройматериалы не изучены. Нам необходимо было торопиться, форсировать исследование грунтов для получения необходимых данных. В этой сложной работе нужны большая смелость и определенный риск. Янушкевич же был человеком бессистемным, бестолковым и отчаянным трусом.

К тому же в Кузнецке впервые Янушкевич соприкоснулся с металлургией, с грандиозным строительством. Все, что здесь предпринималось, было ему незнакомо и мало понятно. Этот человек всю свою жизнь, вероятно, строил незначительные сооружения и небольшие дома. Как и многие наши гражданские инженеры, он думал, что Кузнецк — это обычное строительство, схожее с теми, которые существовали в стране до 1929 года.

Позже я понял, что даже в его внешности было что-то такое, что не подходило для молодого строительства, где нужны смелость и отвага. Янушкевич носил всегда форму гражданского инженера и обладал маневрами солдата: «Слушаюсь, так точно, никак нет-с».

Еще Курако привил мне отвращение к служакам. Если человек говорит «чего изволите», — это верный признак того, что он ни черта не стоит, как работник. Янушкевич был служакой, типичным фельдфебелем от старого инженерства и вдобавок болтлив, как базарная торговка. Мне передавали, что часто он распространялся на мой счет среди плотников:

— Зачем понадобилось Бардину закладывать фундаменты, потерпели бы еще годик.

## ГЛАВА X

В июле были заложены фундаменты заводууправления и базисного склада. То были первые фундаменты на кузнецкой земле.

Долгожданный день, наконец, наступил. Площадка стала шумливой, заскрежетали лопаты, завизжали пилы. Вначале робко, затем все громче и громче рабочие запели «дубинушку». Я всегда любил эту, родную мне, старую волжскую песню труда. А в ту минуту она наполнила меня большой, особо радостной силой. Встав на пригорок, я на всю жизнь запечатлевал в своей памяти начало - великого рождения.

Вскоре над землей поднялись первые кирпичи здания заводууправления. Я торопил людей. Все шло благополучно.

И вдруг на площадке начались странные разговоры.

Впервые я услышал их из уст рабочего. Он сидел на кирпичках спиной ко мне и, закусывая, вел ленивую беседу с двумя своими товарищами,

— Бают, зря мы робим. Земля-то не сдержит дом, и он упадет.

— С чего же ему упасть-то?

— А кто его знает.

— Треплют однако.

Я не обратил внимания на эту болтовню. Но очень скоро мне пришлось убедиться, что площадка действительно полна слухов, будто здание заводоуправления, опустится и обязательно рухнет.

Что за чертовщина! Почему возникли эти слухи, я ничего не понимал, но они упорно развивались, сея на площадке сомнения, недоверие, ослабляя дисциплину и темпы работы. Распространилось нелепое мнение, будто в Кузнецке вообще строить нельзя, грунт-де не выдержит, и все, что будет воздвигнуто, обязательно рухнет.

Веря этим слухам, люди работали с прохладцей, рассеянно, действуя своей медлительностью на нервы. Я проверил все проекты, все данные о грунтах, сверил все расчеты, я следил за кладкой буквально каждого кирпича фундамента. Ничто не внушало опасений. Всякие неожиданности были исключены.

А Янушкевич, между тем, вел свою линию торможения работ на строительстве.

- Здание сдвинуто метров на двадцать в сторону от первоначально проекта, — запугивал он Колгушкина, по-военному вытягиваясь перед ним во фронт. — Позволю себе заметить, что это опасно, чрезвычайно опасно.

— Почему именно? — справлялся Колгушкин.

— Помилуйте, ведь никогда нога человека не ступала по этой земле. Все может случиться: подпочвенная вода, незнакомый грунт. Это сумасбродство Бардина, сумасшедший риск, и я не хочу ему потакать. И вообще к чему эта торопливость? Я никак не пойму. Как бы мы ни настроили с вами, товарищ Колгушкин так, что нас хоп, да за шиворот и на каталажку.

— А Бардин утверждает, что ничего страшного нет. Он знает, что здание сдвинуто в сторону, и говорит, что это не имеет никакого значения.

— Бардин все может сказать. Ему не отвечать. Руководит строительными работами инженер Янушкевич, а не Бардин. Чуть что, придут и скажут: пожалуйста, гражданин инженер, отдохните в подвале. Нет, как хотите, а я продолжать постройку не намерен.

Колгушкин беспокоился.

— Может быть, действительно повременить, Иван Павлович? Янушкевич настаивает, что здесь что-то неладно с грунтами. Может быть, все это проверить?

Вызвали из Москвы профессора Дмоховского, генерального консультанта строительства по грунтам, большого специалиста в этой области. Десять дней он провел в Кузнецке, анализируя и проверяя грунты, и в конце концов дал заключение, что беспокоиться нечего и работу можно продолжать.

Янушкевич возражал:

— А я боюсь продолжать постройку. На площадке только и говорят, что строить опасно.

- Это вы своей болтовней нервируете площадку, — сказал я, не стерпев. — Нечего сказать, хорош инженер, руководитель постройки, который оттягивает работу и занимается пересудами.

- Вы изволите обижать старика, — сказал Янушкевич с огорчением. — Разве я допустил бы такое?

Дмоховский уехал, успокоив своим точением Колгушкина. Значит, все правильно, работу надо продолжать. Янушкевич не торопился. Он вел работы медленно, ворчал, хныкал об ответственности и посматривал на меня недружелюбно.

Через несколько дней после отъезда Дмоховского разыгралась буря. Она ворвалась на площадку вместе с керовской газетой, в которой была напечатана грозная обличительная статья.

Я прочитал и ужаснулся. Кровь бросилась мне в голову. Я ощутил противную горечь во рту. Газета запальчиво обличала меня во всех смертных грехах, требуя остановить вредительское возведение фундамента заводоуправления и прекращения всех работ, начатых моей «злой рукой во Советской стране».

Удар был неожиданный и сильный. Он попал прямо в сердце. Кто-то неуклюже, зло

обрушил на меня пакостное обвинение, попытался грязными сапогами растоптать мою честь инженера, затормозить строительство, которым я мечтал всю свою жизнь. Кто-то попытался окружить недоверием мое имя в тот момент, когда я только развернул наступление. Поколебалась вера в командира. Площадка глухо зароптала, зашептала о моем уходе. Работы приостановились. Почва зашаталась у меня под ногами.

Уйти с площадки посрамленным и уничтоженным! Какая несправедливость, какая обида! Хотелось кричать от невыразимой боли.

Я протестовал горячо, страстно.

Колгушкин успокаивал меня:

- Это недоразумение, все выяснится, Иван Павлович. Конечно, очень неприятно, когда вас в печати обвиняют в таких вещах. Это и меня, как начальника строительства, задевает.

— Все это совсем не то, товарищ, Колгушкин. Я инженер, а наш брат порядочно успел нагадить советской власти. Нам и так не доверяют. На инженеров смотрят с оглядкой. Ведь газеты каждый день твердят о вредительстве. А здесь на меня вылило столько грязи, что невозможно не запачкаться.

— Конечно, это неприятно, — согласился Колгушкин. — Но если вы уверены в своей правоте, — беспокоиться нечего, во всем этом разберутся те, кому следует.

— Обидно, товарищ Колгушкин, ведь мы только начали строить, я не успел даже развернуть свои силы как следует. Я сплю и вижу завод на кузнецкой земле. Тут должны осуществиться мои самые заветные мечты. Неужели же мне придется уйти с площадки?

— Нет, нет, Иван Павлович, к чему такой пессимизм. Я напишу обо всем в крайком партии тов. Эйхе. Увидите — все образуется.

В Кузнецк приехал автор статьи. Он пришел ко мне, молодой двадцатилетний мальчуган, славный юноша с чистыми девичьими глазами. Я сразу подумал: «Его кто-то направил на ложный путь». Мой злой обвинитель вначале петушился и был заносчив. Я спросил его:

— Вы вполне уверены в том, что написали обо мне?

— Конечно.

— Скажите честно, кто помогал вам, или, вернее, кто обманул вас?

Юноша покраснел:

— Никто, уверяю вас.

— Я вижу, что вы говорите неправду. Сами вы не могли ничего подобного придумать. Все это клевета и глупость. Кто убедил вас так необдуманно запятнать честь советского инженера? Вы даже не подумали о том, что своими писаниями можете сорвать подготовительные работы такого большого сложного строительства. Это гораздо серьезней, чем оскорбить одного инженера. Каждый день здесь дорог, вы поймите, каждый день, — прорвалось у меня буквально с отчаянием.

Мой жестокий обвинитель поколебался. Последний аргумент подействовал на него гораздо сильнее, чем все мои предыдущие упреки.

— Хорошо, — пробормотал он взволнованно. — Возможно, что газета совершила ошибку, печатая мою статью. Но я ведь доверился вашему же работнику.

— Кому именно?

— Это настропалил меня Янушкевич.

Жалкий старичишка Янушкевич! Так вот кто бросил в меня камнем, кто взбудоражил всю площадку, кто посмел угрожать развитию строительства.

Сдерживая кипевшее во мне негодование, я сообщил обо всем Колгушкину.

— Какая старая дрянь, — возмутился Колгушкин. — Я сейчас его вызову, пусть посмотрит вам прямо в глаза. Черт знает, что такое!

Янушкевич явился к Колгушкину. Увидев журналиста, он растерялся, стал посолдатски во фронт и подобострастно произнес:

— Чего изволите, товарищ Колгушкин?

— Я изволю знать,— повторил ему в тон Колгушкин, — зачем вы наклеузначили на Бардина? Зачем всполошили площадку?

— Виноват, не понимаю. Ничего я на Бардина не писал. Я сам возмущен этой статейкой.

Но Янушкевич понял, что журналист уже все рассказал Колгушкину, и заметался как пойманная мышь. Он просил прощения, мямлил о старости.

Собрание строителей площадки было бурным. Мне пришлось давать объяснения, отстаивать свою правоту. Янушкевич слабо защищался. Но я видел, что у него были сторонники среди инженеров. Зато меня поддерживали рабочие и коммунисты, находившиеся на площадке. Эта была внушительная помощь, которая давала уверенность в работе.

Янушкевича уволили с площадки, как и многих инженеров, не желавших понять, что Магнитострой, Кузнецкстрой — это закономерный и смелый скачок вперед. Его невозможно было совершить, не освободившись от груза старых строительных традиций.

Но Янушкевич причинил мне много горя. Я все-таки боялся, что мне придется уйти с площадки. «Не начало ли это конца?» думал я с тоской.

Уйти с площадки — значило для меня лишиться возвышенной радостной цели всей моей жизни.

Я понял, что следует как можно скорей план завода на кальке превратить в действующий на земле завод. «Тогда мне будут верить», подумал я.

Я гнал проектировку, я гнал подготовительные работы бешеными темпами. И успокоился только тогда, когда увидел фундаменты доменных печей, поднявшиеся над землей.

Фундамент заложен, дело начато в большом масштабе и по всему фронту.  
Возврата назад быть не может.

## ГЛАВА XI

Еще перед отъездом в Сибирь сообщили, что в Ленинград ехал крупный металлург англичанин Вестгард, который выразил желание работать в Кузнецке. Мне поручили переговорить с ним об условиях и, если он окажется подходящим, пригласить консультантом строительства.

Я нашел его в «Европейскою» гостинице в самом шикарном номере «Ну, — думаю, — значит птица важная». Увидел я человека небольшого роста, с черными волосами, очень простого в обращении, похожего больше на француза, чем на англичанина,

Вестгард рассказал, что он работал в Индии. У «Пириин Энд-Маршал» - довольно известная и солидная металлургическая фирма.

— Почему вы ушли оттуда? — спросил я Вестгарда.

— Как бы вам сказать, можно отчасти признаться, что тут замешана и политика, мне запрещен въезд в Индию. — Он выдержал паузу, как оценивая, какое это произведет на меня впечатление. — Но главная причина, — продолжал он, — не в этом, — мне не заплатили за изобретение, и я ушел от «Маршал».

— Где вы еще работали?

Он назвал лучший в Индии английский завод «Тата» и даже перечислил имена многих известных мне инженеров.

- Вы — инженер? — спросил я его дальше.

- Нет.

Вестгард чистосердечно заявил, что не имеет специального образования, но все время работал на металлургических заводах.

- Мой отец был также металлургом, — заключил он.

Это подкупало. Человек работал на строительстве новых заводов в Индии, является

наследственным металлургом, типичным в этом смысле англичанином. Такие именно люди были и нужны. Первое впечатление о Вестгарде сложилось довольно приличное. Я заключил, что он подходящий человек для строительства и решил взять его на работу.

Ознакомившись с проектными материалами, Вестгард стал доказывать мне, что, по его мнению, проект Кузнецкого завода не годится.

- Его надо переделать, мистер Бардин, — сказал он с апломбом.

- По-моему, этого не нужно, — возразил я, — Проект сделан по нашему заказу известной фирмой. Если мы займемся сейчас переделками, — это только затянет время и задержит строительство. А нам время очень дорого.

- Да, но строить по фрейновскому проекту нецелесообразно. Ваша страна молодая и вам надо строить самый усовершенствованный завод.

- Насколько я сведущ в американской металлургической технике, проект Фрейна и дает нам самый усовершенствованный завод.

- Прошу не обижаться на меня, мистер Бардин, но я против этого утверждения возражаю. Я докажу вам целым рядом предложений других фирм, кстати, я их привез с собой, что существуют более современные проекты металлургических заводов.

Вестгард чрезвычайно оживился. Он принялся показывать мне какие-то письма и пытался заинтересовать меня ими.

— Обращаю ваше внимание, мистер Бардин, что речь может даже пойти о получении кредитов на оборудование. Думаю, что фирмы на это согласятся, и я мог бы взять на себя такое поручение.

Мне не понравилось поведение Вестгарда. Его ведь никто не уполномочивал собирать предложения от каких-то фирм.

— Боюсь, что этот Вестгард отчаянный прохвост, — заподозрил Колгушкин. — Посмотрите, как он прикидывается казанской сиротой и нашим доброжелателем. — По-моему, это ловкий маклер, проще говоря, жулик.

Я не был в этом уверен, но опасался, что если мы начнем заниматься ревизией всего на свете, то будем походить на людей, сомневающих в собственном существовании, и кроме потери времени из этого ничего не выйдет. Время же было для нас дороже всего на свете. Я дал понять Вестгарду, что работать мы будем по проекту, который у нас уже имеется.

Вестгард сделал вид, что успокоился, но наши отношения с ним испортились.

Одна довольно пустяжная причина послужила поводом к тому, что наши отношения стали и вовсе натянутыми. Уезжая на время в Англию, Вестгард спросил меня:

— Что вам привезти?

— Благодарю вас, мне ничего не нужно.

Через некоторое время я получил от него замшевую куртку. Очень хорошая штука. Стоила она долларов десять, Я написал Вестгарду письмо, что подарков не принимаю, и перевел ему сто рублей. Вестгард обиделся.

— Возвращаю вам деньги, — ответил он мне, — а куртку передайте пожалуйста моему переводчику.

Вконец испортились наши отношения, когда Вестгард представил свой первый проект завода. Он был составлен безграмотно и полон всяческих глупостей. Я раскритиковал этот проект, но у Вестгарда нашлись сторонники сибиряки. Он сбил их с толку: «Раз англичанин, иностранец, представил проект, значит это было что-то очень серьезное».

Вестгард написал в Москву, что я не помогаю ему, не даю людей, хочу сорвать его работу. Он считал себя обиженным. Но это была с его стороны хитрость, он хотел поссорить меня с Москвой и предполагал, что я не отважусь вступить в техническое единоборство с иностранцем. Он воображал, что наша техническая слабость дает ему право быть самонадеянным.

Вестгард был неправ. Ему дали все, что он просил: людей, помещение и абсолютную свободу творчества. Ему никто не мешал, но чудес от него мы уже не ждали.

Второй вариант, который он представил, был немного лучше. Но видно было, что он является плодом фантазии не только одного Вестгарда. Мне было известно, что ему помогал кое-кто из томских инженеров. Однако проект это не спасло. Все равно он оставался безграмотным и также провалился.

Но творческий пыл Вестгарда был неугасим. Планам и вариантам его не было конца. Он сбивал ими всех с толку. Особенно он будоражил Гипромез. Я беспокоился, что там ухватятся за варианты, как за счастливую возможность побольше засесть.

В Гипромезе любили варианты. Это была эпопея вариантаний. Вестгард явился для них неиссякаемым родником. Я стал подозрительным и был все время настороже. Памятная история с Янушкевичем сделала меня сдержанным и недоверчивым. Надоели бесчисленные отступления и оттяжки. Янушкевич, Вестгард, варианты, планы... создавалась какая-то непрерывная инерция торможения. Но где же завод? Все эти причины мешали приступить к настоящему строительству.

Между тем на площадке уже появились коммунисты, вникающие во все детали строительства, рабочие успели уже вдохновиться грандиозным планом предстоящих работ. Люди проявляли нетерпение, требовали поскорее развернуть на площади стоящее дело. Я почувствовал, мне — инженеру — есть на кого опереться и решил скорее заложить фундаменты домен, отрезать тем самым пути к отступлению и сказать: «Вот вам доменная печь и никаких разговоров больше».

Вестгард зашумел. Он послал грамму в ВСНХ. Нас вызвали в Москву. Мы поехали вместе. В дороге мы не разговаривали. Вспыльчивый самовлюбленный Вестгард готов наброситься на меня при малейшем поводе с моей стороны. Я молчал и не обращал на него никакого внимания. Я ехал в Москву с твердым намерением раз навсегда положить конец всяким вариантам Вестгарда.

Проект Вестгарда рассматривался в Москве, затем в Гипромезе в Ленинграде и опять в Москве. Он был разбит наголову.

В Сибирь Вестгард больше не возвратился.

По возвращении в Англию Вестгард стал мстить нашей родине клеветой написав несколько смешных и грязных побасенок.

Вестгард оттянул начало строительства, но борьба с ним содержала и положительное зерно. Он столько шумел, дергал всех, надоедал своими бесчисленными вариантами, что в конце концов мы глубже занялись фрейновским проектом. Этот проект был основательно проверен в партийных инстанциях и в ВСНХ, и в результате производительность завода была увеличена в полтора раза против первоначального плана.

Но я в обстановке постоянного напряжения, внутреннего беспокойства не способен был подойти более вдумчиво к увеличившимся масштабам производительности завода и стоял на том, чтобы совсем не менять и не отвлекаться от первоначального проекта Фрейна. Это было моей серьезной ошибкой.

## *ГЛАВА XII*

Сибирская зима 1929 года была отчаянно суровой. Пятидесятиградусный мороз жег немилосердно, лопались градусники, от непривычки захватывало дыхание. Правда, градусники лопались не столько от мороза, сколько от плохого качества спирта.

Это была моя первая зимовка в Сибири, и я вскоре понял, что значат сибирские холода.

Сам по себе сибирский мороз не страшен. Солнечный, здоровый, сухой - к нему даже быстро привыкаешь. Страшны сибирские бураны...

А зима 1929 года отличалась сильнейшими буранами. Невольно я вспоминал своего приятеля, который перед отъездом предупреждал меня:

- Смотрите, Сибирь это вам не Украина, там в конце мая только пахать начинают. У

нас цветет черешня, а еще в шубах ходят.

Но суровая зима не остановила работы на площадке. Мы продолжали строить контору заводоуправления, воздвигали второй и третий этажи, производили внутреннюю бетонировку базисного технического склада и в ту именно пору сооружали над ним крышу. Строили мы в тепляках, стараясь все время держать одинаковую температуру. Ни на минуту не прекращалось сооружение барачных, жилых домов, изо дня в день шла прокладка путей через весь завод. В Гурьевске работа продолжалась своим чередом, там расширялись и улучшались работы литейного и огнеупорного цехов. Подготовительный фронт строительства, таким образом, держался всю зиму.

Мы, правда, упустили темпы. Так и не удалось заложить фундаменты печей или хотя бы подготовить котлованы основных заводских сооружений.

У нас было мало средств и еще меньше опытных строителей.

Упустили мы одну существенную «мелочь», и эта ошибка повторилась на всех строительствах Союза в первые годы индустриализации. Мы не подумали о том, что бани, пекарни, магазины, столовые — необходимы на крупном строительстве, где работают десятки тысяч людей.

Следует отдать справедливость работникам ЦРК. Они требовали построить хлебозавод и универмаг.

Эти требования были, конечно, справедливыми. Но тогда они нам казались дикими: ведь мы располагали ничтожной суммой денег для основного строительства.

Хлебозавод мы не строили. Наша пекарня помещалась в какой-то избушке, оборудованной русскими печами. Здесь умудрялись выпекать по сто пудов хлеба в день. Но хлеба на всех не хватало. Другими продуктами снабжали еще хуже. Подвоз продовольствия был налажен отвратительно. Люди на площадке были раздражены, нервничали, роптали, но работать продолжали.

Моим помощником по строительству после Янушкевича был Коптевский. Я знал его еще с юга. Работал он у меня сменным инженером и механиком в Енакиеве и на Макеевке. Он был квалифицированным металлургом и строительство на площадке вел хорошо. Он понимал его. Но Коптевский имел серьезный недостаток: он был чрезвычайно резок, вспыльчив, любил спорить. Удивительная натура! Своей необузданной горячностью он походил на Долохова из «Войны и мира» Толстого. Как я ни старался, но сдерживать Коптевского мне не удавалось. Он бранился, кричал и часто совершенно зря нападал на людей. Впоследствии эти свойства характера заставили его оставить площадку.

В первых числах февраля 1930 года нам стало известно, что Главчермет в ведении которого находилось наше строительство, перестал существовать.

Вместо него образовалась Новосталь, руководителем которой был назначен Иосиф Косиор.

В конце февраля новые руководители во главе с Косиором приехали на площадку знакомиться с состоянием строительства.

С Косиором я был знаком еще с 1921 года. Он часто бывал на южных заводах, где я тогда работал. Встретились мы как старые знакомые.

Члены комиссии Косиора по-хозяйски принялись за обследование строительства. Они облазили всю площадку, обшарили все закоулки, осмотрели кирпичный завод, бараки, заводоуправление, склад. Под конец в деревянном клубе ИТР собрался весь коллектив строительства. Это было первое публичное обсуждение с рабочими всех дел на площадке.

Докладывали члены комиссии очень придирчиво. Критика каждой мелочи, каждой новой ошибки велась резко. Нас упрекали в том, что мы ведем капитальное строительство (заводоуправление, склад), ругали за дорогостоящие бараки, за то, что мы их делаем не досчатыми, а рублеными, попало нам и за расположение путей, и за каменные карьеры, и за растянутасть фронта строительства. Одним словом, взбучку нам сделали порядочную.

Колгушкина на строительстве не было. Во главе группы инженеров он уехал в Америку знакомиться с за океанской металлургией и договариваться о технической помощи.

Мне пришлось принять одному весь бой. Но я и не собирался воевать. Я понимал, что нас надо хорошенько ругнуть, чтобы держать жестче, внушить дисциплину и уважение к государственному рублю.

— Да, — соглашался я, — недочетов много, работаем мы действительно плохо, медленно, но у нас слишком мало средств, материалов, квалифицированных людей. Нам нужна помощь.

Эту помощь тов. Косиор нам обещал.

### ГЛАВА XIII

Через месяц площадка оживилась. Приехали инженеры, техники, строительные спецы Стальстроя. Я обрадовался. Армия получила командиров, и дело должно было пойти быстрее.

Первого апреля мы заключили договор. На бумаге все обстояло более или менее благополучно. Стальстрой являлся нашим контрагентом, мы передавали ему все работы, проекты, снабжение, за собой оставляли технический контроль. На деле получилось иначе: мы передали право строить, а себе оставили право отвечать за строительство. Это оказалось довольно тяжелой комбинацией.

Полтора месяца длилась передача работы по актам. Мы занимались ненужной перепиской, казуистикой и в конце концов запутали договор. И как бы для того, чтобы все уже окончательно запутать, в дело вмешалась Востокосталь. Вспомнив, что Стальстрой был некогда ее питомцем, Востокосталь решила на этом основании отхватить и себе кусочек распорядительной власти. Канцелярия в Востокостали была большая, прожекторов достаточно, а охотников строчить приказы еще больше. Всевозможные сбивчивые распоряжения отдавались через нашу голову.

С первого же дня прихода на площадку строители повели себя как в завоеванной стране.

Они хотели совершенно отеснить от работы металлургов, которые хорошо представляли себе объем, масштаб и образ будущего завода.

Строители настаивали, что земляные работы обходятся дешевле, когда их проводят лопатами. Основываясь на старой русской практике они доказывали, что механизация в Кузнецке бесполезна.

— Что экскаватор может дать столько-то — это возможно. Но 200 русских лошадок, да овес, да грабарям платить побольше — это выйдет и дешевле и лучше.

Они считали слишком разбросанным фронт работ, который мы вели на первых порах. Но ведь полгода спустя он уже увеличился в десятки раз. В ноябре 1929 года на площадке было четыре-пять тысяч человек. В феврале 1930 года десять тысяч, в марте уже пятнадцать тысяч, стоило ли спорить о том, сколько первоначально было построено барачков? Конечно, нет. В этом проявлялась только узость и ограниченность строителей старой формации.

Русские строители тогда имели ничтожную практику, если расценивать в теперешних масштабах. Что строила старая Россия? Человек, который построил паршивенькое депо и плохенький мостик, почитал себя уже знаменитым строителем. В Кузнецке надо было строить не домики, а завод, создавать новый металлургический гигант, такой, какого России еще не бывало.

Наши строители были хорошими носителями, умели вскопать землю и лить бетон. Это было их плюсом. Но они совершенно не представляли себе объем и панораму того большого комплекса сложных и мощных сооружений, которые они увидели только через два-три года.

Группа металлургов — Казарновский, Зайцев и др. — отличались от строителей тем, что знали американскую технику, представляли себе совершенно ясно будущий завод. В течение чуть ли не двадцати лет этих людей обрабатывал провозвестник американской

техники в российской металлургии — Курако. Еще до революции мы критически относились к русской технической отсталости. И мы не собирались сдавать позиции старым невежественным строителям. Мы знали, чего хотим, что требует от нас время, куда ведет технический прогресс нашей страны. Мы видели и ощущали контуры будущего завода.

Пока мы спорили, работа на площадке подвигалась медленно. Это было самое неутешительное. Обычно спокойный, рассудительный Казарновский и тот терял терпение.

- Эта канитель будет длиться долго. Мы опять потеряем год.

Было ясно, что отсталая практика строителей слишком противоречит размаху строительства. Нужен был только внешний толчок, чтобы структура Стальстроя рухнула. Колгушкина не было, он был в Америке, а я не обладал достаточной смелостью и полномочиями, чтобы разом положить этому конец.

Ждать, впрочем, не пришлось. Страна слишком торопила строительство сибирского гиганта, а Стальстрой слишком путался у него в ногах.

Через два месяца решительным приказом Куйбышева нелепая структура Стальстроя была уничтожена, не выдержав бурного разворота строительства. На площадку приехали новые люди — инженеры, коммунисты, комсомольцы. Это были люди напористые, смелые, молодые. Решительно взялись они за ликвидацию государства в государстве. Строители были подчинены Кузнецкстрою и стали ценными работниками, вписавшими много доблестных страниц в ту славную эпопею борьбы, которая в течение 30 месяцев совершилась в предгорьях Кузнецкого Алатау.

#### *ГЛАВА XIV*

Котлован первой домны начали копать в апреле 1930 года. Землю рвали динамитом. Она взлетала черными фонтанами и медленно, точно нехотя, опускалась. Взрывы сотрясали воздух. Лопались стекла в окнах только что отстроенных зданий заводоуправления и базисного склада.

Земля упорно сопротивлялась. Будто раненое животное, она жалобно стонала от взрывов динамита.

Землекопы, каменщики, сезонники, вчерашние мужички, пахнувшие рожью и полем, работали яростно, точно вместе с землей взрывали свою унылую жизнь. Они и впрямь взрывали здесь свою жизнь, слежавшуюся и окаменевшую, как эта земля.

С большим внутренним волнением и радостью смотрел я на это грандиозное зрелище разрушения и в то же время созидания.

Мы делали котлованы глубиной в пять-шесть метров. Работу гнали в три смены. Работали и ночью при электрическом свете нашей первой трехкиловаттной станции.

Одновременно с котлованами домны были заложены десять каменных жилых домов. Вести земляные работы было чрезвычайно трудно. Механизмов, кроме лопат, никаких не было. Мы расплачивались за трусость и медлительность Стальстроя. По его вине мы запоздали с экскаваторами на весь летний период.

Механизмы приходилось заменять людьми. В поисках рабочих по всей стране ездили наши эмиссары — вербовщики — народ случайный, непроверенный. Вербовкой рабочих занимались и наши контрагенты. Путаница была невероятная. Вербовали кого попало.

На первых порах нам нужны были для работы землекопы, но вербовщики гнали на площадку каменщиков. А их и без того было больше, чем нужно. Каменщиков приходилось ставить на земляные работы, от которых они отказывались или заламывали за нее по 10—12 рублей за кубометр, раза в три дороже, чем можно было платить. Мы тогда еще не знали твердых расценок работы. Этим и воспользовались каменщики, подстрекаемые врагами. Их попытки побольше сорвать со строительства встретили сочувствие у землекопов. Возникали недоразумения, споры, конфликты.

На площадке было много всяких людей. В большинстве это были крестьяне, крепко

спаянные с землей, пропитанные ее соками. Но было на площадке и немало кулаков, преступников, троцкистов, бывших колчаковцев, скрывающихся от возмездия советского правосудия.

В них кипела звериная злоба против начавшейся по всей стране ломки старого жизненного уклада, они, как звери, выгнанные из берлоги, озирались на нее с тоской. Они принесли на площадку все свое злобное отчаяние и ненависть.

Особая роль принадлежала здесь юхновцам. Прозвали их так потому, что все они были завербованы в одном и том же юхновском районе, в Западной области. Их было человек триста. Держались юхновцы вместе, чувствовалось, что они крепко спаяны. Среди них было много кулаков, угрюмых и враждебных стройке и всем мероприятиям советской власти. Это были хитрые враги, которые, осторожно агитируя в бараках и землянках, подбивали землекопов бросать работу. Порой им это удавалось потому, что на площадке было слишком мало партийных и общественных сил, умевших организовать массы.

В конце концов юхновцы заволынили серьезно. Они не вышли однажды на работу, и рытье нескольких котлованов приостановилось.

Почуввав, что мы спешим и торопим работы, вожаки решили сыграть на этом, чтобы содрать с нас, сколько им захочется. Уступить Юхновцам — значило развратить землекопов, создать слишком опасный прецедент.

На это мы пойти не могли.

Одно важное событие всколыхнуло и спаяло людей. На площадке возникла угроза наводнения. Весеннее солнце растопило снег. Вскрылась речушка Аба. Вслед за ней вскрылась и Томь. Эта река течет на север и долго поэтому бывает забита льдом. Вначале казалось, что лед благополучно пройдет и наводнения не будет. Но на беду начались ливни. Потоки мутной воды неслись к реке. Томь вздулась, набухла, лед остановился.

Невероятной силы дожди лили сколько дней подряд. Река стала грозной. Вода вышла из берегов и с шумом понеслась к землянкам и баракам, затопляя всю нижнюю колонию. Поднимаясь все выше, вода стала подбираться к первому нашему сооружению, зданию заводоуправления котловану домны.

Землекопы и каменщики вначале растерялись. Но коммунисты и кадровые рабочие, находившиеся на площадке, не растерялись. Они очутились на самых опасных участках в момент надвигающейся катастрофы, личным примером мужества подымая и организуя людей на борьбу с бедствием. Ожесточенно и страстно люди ринулись на борьбу с водяной стихией. Среди них были каменщики и землекопы, которые еще вчера, ошетинясь, не хотели работать, домогаясь побольше сорвать со строительства.

А сегодня те же люди, рискуя своей жизнью, бросились отстаивать строительство. Это был первый стихийный выв энтузиазма и героического самоотвержения.

Те незабываемые дни, те смутные тревожные ночи, фантастически освещенные луной, и необыкновенное зрелище людей, работавших до изнеможения, вновь проплывают в моей памяти, и, как тогда, возникает вопрос: что руководило этими людьми, какая внутренняя сила толкала их бескорыстно спасать котлованы, отстаивать строительство, как что-то свое близкое, самое дорогое на свете? Все это непохоже было на то роковое иное чувство масс, о котором Толстой говорит в «Войне и мире». Крестьянин и рабочий человек нашего времени — гораздо сложнее.

Как-то в московском трамвае я с интересом наблюдал слегка охмелевшего человека. На нем была рабочая одежда. Чем-то недовольный, он поругивал завком за какие-то непорядки. Он не искал сочувствия ни у кого и ни к кому в вагоне не обращался. Он что-то осуждал, говорил с самим собой. Совсем близко от него стоял худой человек, болезненный, с небритым лицом, запавшими висками и холодными презрительными глазами. Прислушиваясь к тому, что говорил рабочий, этот человек растягивал в иронической злорадной усмешке бледные тонкие губы. Наконец, он не выдержал и бросил какую-то двусмысленную реплику. Рабочий поднял на него глаза и проговорил:

- Не смейся, гадина. Мне-то больно, когда я ругаю, а ты не смей задевать мою власть.

К своей грубоватой прямоте он показался мне благородным и сильным, этот рабочий. Я подумал: «Какая могучая сила неразрывной кровной связи со своим государством живет в каждом пролетарии!»

Глядя на землекопов, отстаивающих от наводнения здание заводоуправления и котлован домны, я вспомнил того рабочего в трамвае и думал: как бесконечно сильна связь этих людей со всем тем, что творится здесь на площадке. Это их кровь. Это их жизнь.

Юхновцев захватила общая напряженная и отчаянная борьба. Они пришли дружно, молчаливые, готовые к повиновению и самой опасной работе. В тяжелой схватке с водой перед ними обнажилась внезапно вся сила их преступления. Они взялись за лопаты, не выпуская их из рук по двадцать четыре часа. Они работали, как бы стыдясь и заглаживая свою вину перед товарищами, перед страной.

Так на площадке, где рождалась новая техника, с первым кубом вскопанной земли, начинался также процесс перерождения огромных масс людей, крестьян, рабочих, инженеров, интеллигентов. Здесь обновлялся их внутренний мир, представления, привычки, убеждения. Здесь менялась их жизнь.

Часть крестьян принесла с собой на площадку жажду наживы, инстинкты собственности. Они лелеяли мечту накопить побольше денег и возвратиться к себе в деревню. Многие из них однако в деревни не возвратились. Они остались на заводе навсегда. Думали ли они, что на площадке вместе с окаменелой землей будет взорвана и уничтожена и их прошлая жизнь.

...Вода убывала, унося на своей поверхности щебень, мусор и грязь.

И вместе с отступающей водой, вместе с накипью и грязью с площадки бежали вожаки, враги, подстрекатели юхновцев.

## ГЛАВА XV

Закладку фундаментов доменных печей решено было произвести Первого мая. Дата — не случайная. Мы хотели первый день закладки домны приурочить к славному пролетарскому празднику, неразрывно связанному с духом солидарности и трудового энтузиазма. Именно Первого мая, когда весеннее солнце в хрустально-голубом небе светит по-особому тепло, когда люди настроены по-весеннему празднично, мы и решили заложить первый кирпич того здания, которое воздвигалось в результате солидарной и упорной борьбы за металлургический гигант в таежной глухой Сибири.

Для меня — инженера — этот праздник имел особое значение. Закладкой доменных печей мы хотели показать всей стране, что здесь, в Сибири, народилось уже нечто серьезное, большое, что будет во что бы то ни стало доведено нами до конца.

Наступил, наконец, и день Первого мая. Площадка оживилась. Настроение у всех было торжественно приподнятое. Над глубоким, зияющим котлованом, возле бетоньерки возбужденно суетился производитель работ Фролов — горячий, молодой строитель. Он махал руками, что-то показывая, расставляя людей. Возле наскоро сколоченной трибуны, увитой красными полотнищами и украшенной портретами Ленина и Сталина, прохаживался Булаков, недавно приехавший на площадку секретарь партийного комитета.

Люди точно именинники. У многих в петличках красные ленточки. Все возбуждены и понимают, что сегодняшний праздник знаменует новую эру — великий процесс превращения глухой тайги в оживленный край мощной индустрии.

На наше торжество пришли рабочие соседних кирпичных заводов. Начался митинг. Первым выступил Булаков. Говорил он складно и приветствовал начало капитальных работ. Последующие речи были напыщенны и носили слишком общий характер. Но слушали их землекопы и бетонщики внимательно, награждая каждого оратора одобрительными хлопками.

Наконец, и речи окончены. Всем не терпится увидеть начало. Бетоньерка давно уже

налажена, люди напряженно ждут сигнала, обратив все внимание на бетоньерку и застыв точно перед фотоаппаратом. Булаков взмахнул рукой. Бетоньерка вздрогнула, заработала, захлопала, точно мортира, непрерывно бетонируя котлован. Крики одобрения огласили площадку.

Закладка фундамента совершилась.

Для отвозки земли были поставлены транспортеры. Это было эффектным зрелищем для местной публики впервые увидевшей механизацию. Зрители удивлялись, что землю уже возят не лошади, а направляют проложенным путем. Работу транспортеров сибиряки наблюдали с любопытством и интересом.

В конце мая мы начали копать и котлованы под мартен. Место для мартена было более или менее спланировано, но от обильных дождей представляло собой сплошные лужи. Пришлось поэтому сначала освободить площадку от воды и затем уже начать земляные работы.

Боясь потерять хоть одну минуту, мы работали день и ночь, как кроты. На площадке копошились землекопы. Рытье котлована под мартен и возведение фундамента домен шло полным ходом.

Завершился первый подготовительный этап строительства.

## ГЛАВА XVI

В июле на площадку прибыл новый начальник строительства. О нем говорили, что этот человек не терпит каких авторитетов, что он самонадеян, заносчив и не переносит чужих доводов, даже самых разумных. К тому же, по своей прежней работе новый начальник строительства был тесно связан с работниками Стальстроя. Я предположил, что это может отразиться на его отношении к кузнецкстроевцам. Ведь именно с работниками Стальстроя мы, строители-металлурги, вели все время упорную борьбу. Мои опасения оправдались очень скоро. Свои первые шаги на площадке новый начальник строительства начал с того, что стал разгонять работавших со мной людей. Первой жертвой этого наступления был металлург К., человек, правда, неуравновешенный, вспыльчивый, но отличный работник, весьма опытный в своем деле. Меня это задело.

- Инженер К. может подать повод к недоразумениям между нами. Лучше поэтому от него освободиться, — сказал мне новый начальник строительства.

- Да, но, уволив человека, с которым я давно работаю, которого знаю и которому доверяю, вы как раз и создаете повод для недоразумений, — возразил я.

Я изложил новому начальнику намеченный план разворота строительства. Я рассказал ему, какую тяжелую борьбу пришлось провести на площадке, прежде чем заложить фундаменты.

— Если бы мы ждали и медлили с закладкой фундаментов, пропал бы еще один строительный сезон, — пояснил я.

Начальник строительства отнесся неодобрительно к тому, что мы полным ходом разворачивали работы на площадке.

— Я не понимаю, зачем такая спешка? Ведь это же не баранки печь, а завод строить, нельзя торопиться в таком деле.

Это меня насторожило. Я понял, что новый начальник не даст мне работать так, как это диктовалось интересами стройки. Но на кого опереться? Я подумал о партийной организации площадки, о секретаре партийного комитета Сулакове, против которого новый начальник строительства вооружился буквально на второй день своего приезда.

Но я не пошел в партком. Тогда я еще недостаточно хорошо понимал, что именно в партийном комитете надо искать поддержку любому беспартийному специалисту, когда речь идет об интересах строительства, интересах социализма.

Особенно насторожился я, когда новый начальник стал намекать на мой возможный

отъезд в Москву якобы по делам строительства, а на самом деле за тем, чтобы спровадить меня с площадки. Но я не собирался оставить площадку даже на один день. Я не мог этого сделать. Земляные работы шли полным ходом. Мы копали площадку везде и всюду. Фундаменты росли как на дрожжах, и, кроме шамото-динасового цеха, который был неправильно запроектирован, у нас все шло достаточно хорошо.

В этот момент совершенно неожиданно для меня на помощь пришел партийный организатор строительства Сулаков.

— Двигайте строительство в нужном направлении, — сказал он мне, — рассчитывайте на помощь парткома во всем, что касается интересов дела. В крайкоме и в ЦК партии нам всегда помогут, там разберутся, кто прав, а кто виноват.

Я приободрился.

Судаков мобилизовал помощь партийных организаций края строительству и, опираясь на их авторитет, мы твердым и решительным приказом ликвидировали Стальстрой. Все строительство было подчинено Кузнецкстрою.

Установилось правильное разграничение функций: металлурги объединяли техническое руководство строительством, а уже самые строительные работы производили строители.

С этого времени положение на площадке резко изменилось.

Каждый день на строительстве появлялись новые люди, прибывали свежие силы: инженеры, техники, хозяйственники, строители, партийцы.

Всем хотелось работать, действовать, все стремились к живому, активному делу.

Мы успели заложить фундаменты всех основных цехов, кроме прокатного. Но масштабы работы, которые очень широко развернулись на площадке, явились полной неожиданностью даже для центральных управлений. «Новосталь» тревожно запрашивала: «Откуда, почему фундаменты, кто разрешил строить?» Наши представители в Америке протелеграфировали, что договор на техническую помощь с американцами заключен, и требовали до их приезда никаких капитальных работ не начинать.

Но отступить было уже поздно. Над землей уже возвышались две каменные груды доменных печей, уже возникли стены шамото-динасового цеха, мы готовились закладывать мартены, а тут вдруг «остановите работы, не начинайте капитальное строительство». Потеряв с нами связь, наша кузнецкстроевская комиссия в Америке не могла себе представить, что мы так далеко ушли вперед.

— Как же быть? — задавал я тревожный вопрос Сулакову.

Судаков обратился в крайком партии за советом.

«Продолжайте работать», ответили из крайкома твердо.

Будь в крайкоме люди менее решительные, Кузнецкий завод вступил бы в строй много, много позже.

## ГЛАВА XVII

В процессе строительства трудной поджидали нас на каждом шагу, Мы были малоопытны и часто землю перекидывали с места на место раз пять. Гравий на ЦЭС (Центральная электростанция) мы таскали чуть ли, не мешками, обносили его вокруг здания, поднимали на верхние этажи! Мы просто не знали, как поступить иначе. У нас было мало электроэнергии, и важнейшей задачей была тогда постройка второй, вспомогательной станции. Но точного расчета необходимой электроэнергии мы себе не представляли.

Спешили мы с шамото-динасовым, цехом, чтобы иметь скорее свой огнеупорный кирпич. |

К зиме 1930 года мы сделали большие запасы гравия, закончили и оборудовали механический цех, построили кислородную станцию, котельный цех кузницы. Наряду с возведением основных цехов мы в самом начале создали себе прочную базу подсобного

хозяйства.

Нашим слабым местом было жилье. Зато у нас было достаточно продовольствия и вдоволь спецодежды и обуви. В этом отношении наше строительство выгодно отличалось от Магнитки.

Материалы и оборудование нам посылали из центра непрерывно. Квалифицированных людей у нас было мало, и зачастую работники не знали, что это за оборудование, для чего и куда оно идет. Поэтому мне приходилось регулярно ездить на станцию Кузнецк и давать указания, куда разгружать и как хранить оборудование.

Таким образом, в зиму 1930 года мы вступили более вооруженными. Мы получили много экскаваторов, рам, всякого рода механизмов. У нас шло много железа и стройматериалов. Ручная работа лопатой быстро отступила на задний план. Доменный цех в основных контурах выглядел довольно хорошо. Сильно отставала бункерная часть и рудный двор. Мы не предполагали, что объем работ на скиповых ямах будет большой. Ковыряли мы их всю зиму.

По мартену дело шло благополучней. Там поставили железные конструкции, и все шло как следует. Хуже было на строительстве прокатки. Ее начали строить еще осенью, но работы велись медленно и развернули их как следует только к середине 1931 года.

По внешнему виду площадка буквально на глазах преображалась. В течение нескольких дней вырастали фермы, возникали стены, появлялись здания. Работать на крепком сибирском морозе было довольно тяжело, но рабочие были одеты неплохо, в теплые пимы, ватники и меховые шапки.

Зимой 1930 года темпы работы начали отставать, мы не укладывались в необходимые сроки. Мы ввели ночные дежурства в цехах. Главной обязанностью дежурных было следить за тем, чтобы работы шли полным ходом. Объектов наблюдения было очень много. Надо было присутствовать при опускании злосчастной галереи на Томи, смотреть, как работают американцы, проверять, как бригады склепывают кауперы, как их сажают на фундамент; надо было следить за тем, как подливают бетон, как в мартене ставят колонны и как идет кладка огнеупорных печей.

Работать приходилось и днем и ночью, постоянно не досыпать, быть начеку, в напряжении — двадцать четыре часа в сутки. Но разве мы думали об усталости? Мы забывали о ней, мы ее не чувствовали. Нас поглощало строительство, мы были захвачены пафосом созидания.

## *ГЛАВА XVIII*

В сентябре, когда на площадку прибыли американцы, мы уже начали монтаж кожухов печи. Мы успели заложить основные цехи — доменный мартен, огнеупорный, силовую станцию и налили уже в фундаменты порядочное количество бетона. Это был определенный успех, и мы гордились им.

Но американцы не ожидали, что в развороте строительства мы отважимся так далеко зайти. Первым их желанием было перестроить весь план, иначе говоря, перечеркнуть все то, что мы уже сделали. Приходилось только удивляться этой тенденции американцев. Они ведь были работниками той же фирмы Фрейн, которая составляла план Кузнецкого завода, а мы вели работы в полном соответствии с этим планом.

Возражать против наших работ было неразумно, и я полагаю, что американцы проявили такую тенденцию потому, что в большинстве были не производственниками, а проектировщиками, которые любят охаять проект, сделанный другими лицами. Диктуется это стремление простым желанием заработать на переделках плана лишние деньги.

Приходилось поэтому на первых порах выдерживать борьбу с руководителем американских инженеров Эвергардом, приходилось отстаивать его пятидесятитонные мартены и тысячетонные домны, которые мы успели заложить.

Но американцам казалось необычной эта затея большевиков.

- Америка в Сибири — это просто чудо! — воскликнул удивленно мистер Эвергард. — Мы считаем совершенно невозможным строить у вас стопятидесятитонные мартеновские печи, такие мощные домны и прокатку, какие вы задумали. Вы поймите, ведь в Америке мы только начинаем строить такие заводы. Что же вы сделаете без опыта, без механизмов, с вашими необученными людьми? Посмотрите, ведь они ходят в лаптях. Смешно!

Американцы были бы менее удивлены, если бы мы стали строить завод наподобие Гурьевки или старых южных заводов. Они ведь привыкли считать Россию большевиков старой, прежней Россией, нищей и технически беспомощной. Они не понимали, что страна большевиков, — это уже не старая, отсталая Россия, а новая страна, идущая семимильными шагами к прогрессу, к вершинам самой передовой мировой техники.

Помню, летом 1931 года мы поехали с Эвергардом к долине Учулена, между Темир-Тау и Мундыбашем. Мы ехали тайгой; дорога была ужасна: ручьи, камни, горы, непролазная топь, заросли. Эвергард любовался дикой красотой природы.

— Здесь мы проложим двадцать километров железной дороги, — сказал я Эвергарду.

Американец не поверил. Он смотрел на сибиряков с их колымажками и лошаденками и пожимал плечами.

— Когда же вы думаете построить эту дорогу?

— К седьмому ноября, к годовщине Октябрьской революции. Это будет наш подарок великому празднику.

— Это невозможно, вы фантазируете так же, как с масштабами завода.

— Но завод — это уже реальность, мистер Эвергард. Мы постараемся вам доказать постройкой и этой дороги, что мы реальные фантазеры.

В конце концов, когда на площадку приехал Фрейн и увидел, что работы идут полным ходом, он уже трезво рассудил, что менять планы действительно бессмысленно. Он дал понять Эвергарду, чтобы тот бросил разговоры о всяких переделках.

Я водил Фрейна по площадке. Он видел наших рабочих, беседовал с инженерами, казалось, был восхищен. Но мистер Фрейн был американцем. Он, конечно, думал, что мы забавные чудаки.

Что же представляли собой американцы?

Строители-американцы приехали на площадку в августе. Тут были Глэнн, Бэр, водопроводчик Бурель и топограф Гофмайер. Приступив к работе, американцы-строители стали навязывать нам свои указания. Одни из этих указаний было правильное - это переход на литой бетон. Он сразу поставил дело по-американски, при чем наши строители считали, что это не нужно, что это дорого обойдется. Русские инженеры привыкли возить цемент тачками и считали что этим они экономят. Наши строители не учитывали, что, экономя на цементе, мы переплачиваем колоссальные деньги на лишней рабочей силе и замедляем темп строительства

Что касается проектировщиков, то среди них были люди разной ценности.

Мы, конечно, понимали, что Фрейн не хватал звезд с неба. За исключением двух-трех специалистов, к нам приехала второстепенная публика. Фрейн подбирал для нас не блестящих инженеров и техников, а случайно подвернувшихся людей, которые соблазнялись повышенным гонораром.

Вот, например, незабываемый старик Дерфи — начальник мартеновского цеха. Как «трогательна» была его прямо-таки маниакальная забота о лечении своих и жениных зубов. Будто мы его специально для этой и выписали! Старый бездельник! Четыре месяца он выколачивал из нас денежки, пока мы не выпроводили его.

Среди американцев выделялся прежде всего их руководитель Эвергард — инженер-проектировщик. В Америке существуют такие специалисты, которые только проектируют. Они называются дизайнерами. При американских больших размахах и масштабах они необходимы. Эвергард близко с производством не сталкивался, но имел большую практику в проектировании заводов. Это был тип инженера и дельца в то же время.

Особо глубоких знаний у Эвергарда в какой-нибудь специальной отрасли не было, зато он умел организовать и держать в подчинении людей. Это тоже большое искусство, ценное на серьезном строительстве. Эвергард не был мелочно-упрямым и, когда надо, уступал, правда, если его самолюбие от этого не страдало. Он хорошо знал металлургическую Америку, бывал в Европе и оказался для нас человеком чрезвычайно полезным.

Но помощник его Кениг был ограниченный человек. Его роль сводилась к руководству техникой проектирования, но Кениг не был крупным специалистом. Прилично он знал только прокатку. Почему Эвергард взял его себе в помощники, я понять не мог. Держал себя Кениг с русскими инженерами вызывающе, и я часто сдерживал себя, чтобы хорошенько не осадить его.

Совсем другой человек был Голловей, скромный конструктор-чертежник, большой практик, очень порядочный человек и один из тех, кто обладал знаниями и отстаивал свои собственные технические идеи. Он искренне помогал нам разбираться в деталях американских конструкций и, в особенности, в конструкциях домен. Умный, вдумчивый, приветливый старик, он сохранил самое теплое воспоминание о Советской стране. И сейчас он мне пишет дружеские письма из Америки.

«Я с благодарностью вспоминаю дни, когда вместе с вами трудился для вашей великой страны», — пишет он в одном письме.

Полной противоположностью Голловейу был Райс, инженер-доменщик, довольно слабый и узкий проектировщик. Глядя на наших строителей, на то, как неуверенно они нащупывали пути, мистер Райс снисходительно улыбался. Он не верил ни в наши силы, ни в наши возможности, ни в способности людей и в наше уменье.

Фактически проект доменного цеха был сделан Гипромезом до Райса, который только корректировал его и бесконечно критиковал.

— Плохо, можно сделать лучше, — неизменно повторял Райс.

— А как сделать лучше, мистер Райс?

Но Райс только молча улыбался. Когда строительство подходило к концу и нужно было переходить к производству, мистер Райс сбежал. Он нарочно ставил невыполнимые условия, чтобы освободиться от тяжелой работы пускового периода. Он боялся, что с этим не справится, и заменил себя Фергюсоном — заокеанской птицей, которую выписывать из Америки не стоило.

— О, Фергюсон — это замечательный практик, — расхваливал его Райс.

Выписали Фергюсона. Он приехал не один, вместе с братом. Я сказал Фергюсону, что нам нужны будут мастера.

— Великолепно, у меня есть еще и другой брат.

— В Америке, кажется, не принято возить с собой братьев на работу, — пошутил я. — Выпишем лучше кого-нибудь другого.

— Никого другого я не выпишу, — обиделся Фергюсон, — мои братья всегда со мной работают.

Мне хотелось, чтобы у нас работали не только строители-американцы, но также и механики и электрики, к потому я упорно отстаивал кандидатуру механика Спеласи. Два месяца этот американец усердно критиковал советский строй, с удовольствием покурился советские сигары «Тройка», любил советский виноград и омлеты с ветчиной. Мы быстро расстались с ним, извинившись, что не уважаем, бездельников. Спеласи обиделся на такую непочтительность большевиков и напечатал в Америке несколько пошлых статей о том, как плохо-де живет в Советской стране и как не умеют работать большевики.

Таким образом, за исключением двух-трех специалистов, мы получили много неважных работников-американцев.

Что дали нам американцы в строительном искусстве?

Меньше, чем можно было ожидать, но кое-что дали.

Например, переход с пластичного на литой бетон они сразу поставили по-

американски. Они доказали нашим строителям, что литой бетон значительно лучше. Воспользовавшись этими указаниями, третью и четвертую домны мы уже бетонировали по американскому способу.

У американцев был определенный порядок.

— Чертеж, — говорили они, — это документ, от которого ни в коем случае нельзя отступать.

Выполняя задание, даже самый захудалый инженерии понимал, что чертеж представляет собой совершенно законченное целое и должен быть выполнен до конца.

Подстанции, которые строили американцы, являли собой законченное сооружение под монтаж. Все было выполнено точно по определенному чертежу. Мы же смотрели на работу так: каждый мастер, каждый инженер, каждый рабочий участка не может заранее наметить себе точную линию работы. В этом отношении наши строители (работали не так, как работают на фабрике, где каждый процесс точно рассчитан, а как кустари-одиночки, портные, которые шьют по собственному вдохновению.

Нашим строителям и монтажникам ничего не стоило пробить любое количество отверстий в полу или в стенах. Лишь бы только зацепиться. Мы сверлили и долбили сотни тысяч лишних отверстий, презрительно прозванных американцами «монтажные дырки».

В начале монтажа машин наши монтажники не ставили сразу болтов, они опасались: «а вдруг не придется».

Американцы говорили:

— Как не придется? Обязательно должно прийти.

— А вдруг будет ошибка?

— Ошибки не может быть.

— Но человеку ведь свойственно ошибаться.

— Человеку да, чертежу ни в коем случае. Надо заранее рассчитывать так, чтобы ошибок не было.

С другой стороны, и американцы часто оказывались консерваторами в работе. Американцы предпочитают в работе только те методы, которые достаточно проверены. Они чрезвычайно не любили такого новшества, как сварка. Когда Кениг оказал Бэру, что мы будем сваривать газопровод, тот засмеялся:

— Если бы я стал пробовать сварку, то только на своей собаке.

Первоначально наши строители были настроены далеко не в пользу американцев. Видя их беспомощность, незнание языка, непонимание сибирских условий, некоторые наши инженеры и техники-строители думали, что у американцев учиться нечему. «Мы-де сработаем лучше американцев, они нам ни о чем». Я сдерживал эту публику.

— Прежде чем говорить, надо доказать, что вы работаете лучше американцев и знаете больше их.

Во главе этих строительно-шовинистических настроений стоял инженер Д. Он полагал, что в строительных делах знает лучше и больше, чем любой американец. Д. похвалялся, что работает и без чертежей и без материалов, «а вот получается».

Американцы вначале растерялись. Они приходили с жалобами ко мне, говорили, что их никто не слушает и не желает понимать. Тогда я предложил собрать всех американцев и выслушать, чего они хотят.

Американцы вс в один голос заявили, что им трудно работать, их не понимают; американец говорит одно, а русский делает совсем другое, приказ на русского не действует, и поэтому не видны результаты работы, Я отвечал американцам:

— Мы вас пригласили в нашу страну для того, чтобы вы помогли нам построить завод, а вы жалуетесь, что вас не слушают. Нас тоже не всегда слушают. Вы вспомните промышленную историю вашей страны. Был у вас знаменитый металлург Джон Фридт. Эту книжку вы, вероятно, читали все. Джон Фридт рассказывает, как он налаживал доменные печи, пускал новые мартены, но люди, не привыкшие к этой новой технике, не хотели

работать. Мастера и рабочие говорили, что эта техника не годится.

Джону Фридту стоило немало трудов доказать своим же соотечественникам, что работать надо именно так, как указывает он. Джон Фридт — поучительный пример. Докажите нашим людям на практике, что вы травы, и никто не посмеет вам возражать, а тем более ослушаться ваших приказаний.

Все недоразумения исчезли, когда ша площадку приехал инженер-коммунист, назначенный вместо Д. главным строителем завода. Он сразу понял, что американские методы работы с механизмами или литой бетон ускоряют в несколько раз работы на строительстве. Он потребовал от своих работников применения методов работы американцев и беспрекословного выполнения их указаний.

Разбивка прокатки сразу пошла хорошо, по-американски. Здесь был замечательный работник американец Стюарт, который с чисто спортивным азартом и воодушевлением проводил работы.

Относившиеся раньше скептически к литому бетону, внедряемому Бэром и Глэнном, наши строители теперь даже начали подсчитывать экономию от сокращения рабочей силы при замене пластического бетона литым.

Наиболее горячо проводила американские методы работы наша строительная молодежь. Помощник главного строителя Фролов был энергичным молодым инженером. Он любил точную работу. Это был вдохновенный работник. В любое время дня и ночи его можно было встретить на площадке бодрым, жизнерадостным, никогда не унывающим и полным страстной веры в будущее. Как жаль, что он погиб, так и не увидев готового завода.

На ТЭЦе своей горячностью выделялся Петровых Владимир Сергеевич, а на мартене — прекрасный и умный строитель Макаров, ушедший впоследствии по болезни.

У нас были и не строители, люди, любившие риск, и трусливые людишки. С первых же дней, когда обозначились трудности, многие начали бить отбой: и климат не подходящий для здоровья, и не по специальности работа. Таких мы не задерживали на площадке, удираете — и черт с вами, нам не жалко.

Среди людей преданных, ценных выделялись плановики. Они оказывали большое влияние на всю нашу работу, организуя дружный, сложный процесс всех звеньев строительства. Плановики заранее определяли количество работы, намечали участки строительства, подтягивали весь строительный персонал, приучая его к порядку и бережному отношению к материалам.

Особое место на строительстве занимал цех железных конструкций, железомонтаж, преобразованный в самостоятельный цех на площадке.

Отдельные работники не понимали значения того или иного цеха в общем ходе строительства. В частности, когда железомонтаж появился на площадке и потребовал себе площади для мастерских, его встретили в штыки: «Эти еще откуда приехали и что им вообще нужно?»

Однако цех железомонтажа представлял важнейшее звено в строительстве. Шутка сказать! Сто тысяч тонн железных конструкций должен был изготовить железомонтаж для строительства.

Пятьдесят тысяч тонн из этого количества цех должен был изготовить непосредственно на площадке. Ведь это колоссальная работа, огромный завод, которому нужны рабочие, сложное оборудование и инструменты.

Потребовалось много усилий, чтобы доказать строителям, как важно значение этого цеха.

Мартеновский цех, листовой стан, стан «500» полностью до последнего куска выполнены железомонтажем. Из железных конструкций до последней заклепки мы в течение двух лет ничего не получали со стороны. И не будь этой строгой специализации, не дай железомонтажу жить самостоятельно, у нас получилось бы то же, что на Магнитке. Мы растеряли бы людей по бесчисленным цехам, а в каждом цехе у нас были бы свои «кудесники», конкурирующие друг с другом, а в итоге пострадали бы сроки строительства.

## ГЛАВА XIX

Из газетных сообщений стало известно, что правительство определило днем пуска первой сибирской домны 7 ноября 1931 года. Эта дата была установлена правительством после наших заверений, что именно в великую октябрьскую годовщину мы подарим стране первый сибирский чугун.

Скажу откровенно, когда эти сроки были еще далеки, они мне казались вполне выполнимыми, но по мере их приближения становилось ясно, что к 7 ноября 1931 года мы домну не пустим.

Это был конфуз, большой скандал. На телеграфные запросы из Москвы: «Можно ли уложиться в сроки?», я отвечал, что если не в ноябре, то уже в декабре домну мы обязательно пустим. А в это время мы только поднимали наклонный мост на домну.

Как главного инженера строительства, меня беспрестанно теребили, опрашивали, на меня наседали бесчисленные представители газет, журналов, работники партийных и комсомольских организаций, хозяйственные учреждения. Всех интересовало, что еще осталось доделать до пуска домны.

Я отвечал, что надо еще закончить заезды на бункера, необходимо проложить пути, чтобы можно было подъезжать к первой печи, нужно получить кокс.

Оставался месяц до 7 ноября, а доменный цех был завален землей, конструкциями, небраным кирпичом. Важнейшие объекты завода не были еще готовы. Не было даже разливочной машины, я пустить в этом положении домну было бы преступлением.

Партийный комитет строительства беспокоило искал выхода:

— Можно ли пустить домну без разливочной машины?

— Нет, ни в коем случае, — отвечал я.

— А нельзя ли разливать чугун на литейном дворе? Некоторые мастера утверждают, что можно.

— Нет, это совершенно невозможно. Ведь печь огромная. Мы просто не успеем убрать чугун и напрасно измучаем людей.

— Тогда можно ли пускать домну без газоочистки?

— Нельзя пускать, потому что если пускать грязный газ, то зальются каупера, и мы их погубим.

— Тогда, может быть, пустить печь на одной турбовоздуходувке?

— В этом случае, если произойдет авария турбовоздуходувки, печь надолго выйдет из строя.

К 7 ноября был только поднят наклонный мост на домну, но и его еще надо было монтировать. Газоочистка не была закончена, рельсовые пути лежали еще в канавах, а не на ровной плоскости, по-прежнему не было еще разливочной машины.

Торжественное октябрьское собрание коллектива строителей проходило в деревянном здании поразительно быстро выстроенного театра. Строители находились в приподнято праздничном настроении, но всех угнетало сознание, что главная задача не выполнена. То и дело из разных концов зала слышался обращенный к президиуму тревожный вопрос:

— Как же с домной, когда же мы дадим обещанный стране сибирский чугун?

Приходилось отвечать на эти недоуменные вопросы:

— Будем считать в основном сибирский завод открытым, а домну пустим в начале декабря.

Проходит декабрь и январь 1932 года, а для пуска домны еще не все готово. Партийная организация площадки требует объяснений у главного инженера строительства. Меня вызывают в партком, мне говорят:

— Мы были уверены, что пустим домну в ноябре, потом мы всех заверяли, что это произойдет в декабре. Но вот уже прошел февраль, и ж еще неизвестно, когда мы, наконец

выполним обязательства, данные кузнецкстроевцами советскому народу?

Вы знали ведь, что вовремя кузнецкая домна не будет задута?

— Да, я знал, я понял это еще несколько месяцев тому назад.

— Так почему же вы этого не сказали раньше и продолжали уверять нас, что домну к ноябрю мы обязательно пустим? Надо было прийти в партийную организацию строительства и поделиться своими сомнениями. Ведь мы могли бы принять мобилизационные меры, и с нашими людьми, с нашими замечательными строителями наверное давно уже пустили бы домну.

— Это безусловно верно, — согласился я. — К сожалению, об этом я не подумал.

— Ну, а теперь, в марте месяце, можно пускать печь?

— Теперь можно, печь вполне готова.

В маленькой конторке доменного цеха 30 марта 1932 года собрались инженеры, рабочие, строители, партийные работники, американцы.

Можно пускать домну или нет? Американцы единодушно заявили, что домну пускать никак нельзя, еще не время.

— Почему нельзя? — заинтересовались представители парткома.

— Нужно раньше опробовать воздухоудку, испытать водопровод, кроме того, нет персонала для обслуживания печи, — пояснили американцы.

Обратились ко мне и обер-мастеру Ровенскому:

— А, по-вашему, можно пустить печь, или есть какой-нибудь риск, что она не пойдет?

— Да, можно. Риска никакого уже нет. Печь готова к выдаче чугуна.

— Ну, тогда, начинайте.

Наступили самые ответственные и торжественные минуты работы на площадке, минуты, завершающие величественный и тяжелый этап борьбы с суровой сибирской природой, минуты, завершающие величайшее напряжение огромных масс людей. Наступили минуты, которые должны были вознаградить строителей за их тяжелый и благородный труд, отданный ими без остатка на создание первенца социалистической индустриализации в Сибири.

Начиналась загрузка домны. Из бункеров по наклонному мосту побежали вверх к загрузочным аппаратам первые вагонетки с рудой, с коксом, с доломитом. Это было торжественное зрелище, и люди не отходили от домны ни на шаг. Сюда пришли строители, их жены и дети, чтобы увидеть начало великого рождения сибирского гиганта.

Смена инженера Шабанова вызвала на соцсоревнование остальные смены домны. В пусковую ночь бодрствовала вся площадка. Бригада Шабанова, проработавшая смену, добровольно осталась помогать другой бригаде, на которую выпала честь пуска домны.

Заканчивалась погрузка. Последние скипы опрокидывали в первую шихту домны. Доменщики устанавливали, холодильники фурм. В двенадцать часов ночи 1 апреля вода охватила все секции домны, забила безостановочно из водопроводных трубок. В последний раз мы осмотрели разливочную машину.

В три часа пятьдесят пять минут я включил рубильник сигнального прибора. Воздуходувка ответила: «Даем воздух»; ЦЭС ответила: «Есть пар»; кауперы сообщили: «Даем дутье 500°».

Дутье в печи усиливалось. Люди вдруг бросились к фурмам и прожгли раскаленными ломом облитую керосином кладку. На фурмах вспыхнул огонь, огонь зажег шихту домны. Оранжевым пламенем вырвался газ через чугунную летку.

Первую кузнецкую домну задудли в три часа пятьдесят пять минут 1 апреля 1932 года.

Через тридцать шесть часов пошел первый чугун.

С этого дня Сибирь стала родиной металла.

Была ночь, апрельская сибирская ночь, когда из летки хлынул первый чугун. Дежурившие около печи люди, не спавшие уже несколько ночей, счастливые и возбужденные бросились на шею друг другу. В радостном исступлении все кричали от

восторга.

Изменилась география края с того момента, когда пошел первый сибирский чугун из кузнецкой домны. Осуществились мечтания великих русских людей — Ломоносова, Герцена, Менделеева. Эти мечты осуществили большевики, советский народ, великая партия Ленина — Сталина, Советская власть — самая демократическая и прогрессивная власть в мире.

Осуществились мои мечты, мечты инженера, которому выпало большое счастье участвовать в строительстве сибирского гиганта.

Первая плитка чугуна, который выдала кузнецкая домна, была отправлена великому Сталину — вдохновителю и творцу сибирского гиганта.

## ГЛАВА XX

Труд, который в наше время стал делом чести, доблести и геройства, в прошлом был проклятьем и унижением.

В деревне Широкий Уступ, где я родился, люди трудились много и тяжело, но эта борьба за полугодное существование вызывала лишь жалость и возмущение. Огромной жалостью и гневом проникнуты стихотворения Некрасова, впервые воспевшего труженика:

Все заносили десятники в книжку,  
Брал ли на баню, лежал ли больной...

Безрадостная картина строительства железной дороги, нарисованная поэтом, оставалась типичной и для начала нашего столетия.

Все это хорошо помнят люди моего поколения, но знает ли это молодежь, которая пришла на советские стройки и росла одновременно с корпусами новых заводов? Молодые люди, которые десять лет назад не знали, что такое трактор, становились инженерами у домен, управляют мощными агрегатами, изобретают умнейшие станки.

Первые строители на площадке жили в самодельных землянках. На столе главного инженера рядом с чертежами заводских пролетов лежал проект нового, социалистического города. Город рождался в непосредственной близости с заводам. Первые жители его светлых корпусов были пришедшие на Кузнецкстрой «с Волхова, с матушки Волги, с Оки, с разных концов государства великого» молодые парни и девушки. Это они, организованные волей партии, сыны великого советского народа, вздымали окаменевшую землю, творили эпопею социалистической Сибири.

Весной и летом 1930 года на Кузнецкстрое началось генеральное наступление. На огромной, заросшей кустарником и покрытой заводьем площадке, в дикой, безмолвной тайге закипел человеческий муравейник. Люди воздвигали временные сооружения, подвозили материал. В этот период наступление велось главным образом на окаменевшую землю. Основной фигурой на стройке был землекоп.

Различные национальности была представлены в первых бригадах - украинцы, татары, казаки. Но различие наречий не повлекло за собой тех роковых последствий, что при постройке знаменитой Вавилонской башни. Цементирующим началом был не общий язык, а единая идея — идея индустриализации нашей социалистической страны.

Работали круглые сутки. Ночью площадку освещали прожекторы, ночные смены не хотели снижать выработки. Когда на половине котлована вдруг обнаруживались пльвуны, котлован продолжали рыть, стоя по пояс в ледяной воде. За слоем пльвунов шли слои глины и гальки. После восьмичасового рабочего дня на производственных совещаниях землекопы слушали доклады инженеров «о грунтах», «не грозит ли оседание?». Интересовались завтрашним днем стройки не только потому, что знали — по окончании земляных работ они станут каменщиками, бетонщиками, монтажниками, а потому, что за каждым вынутым кубометром земли, за каждой кладкой кирпича они видели завод. Они не представляли его

себе во всех деталях, но каждый знал, что строит завод, который даст миллионы тонн чугуна, миллионы тонн стали. И этот чугун и сталь были той вдохновляющей идеей борьбы, той осязаемой реальностью, которая сделала возможным такие результаты, какие давала бригада Дункеля, вынимавшая по 56 кубометров земли на человека за смену. Это сделало возможным победу бригады Филиппова, опередившей Дункеля и давшей за смену 74 кубометра земли на одного человека. Тот, кто работал когда-нибудь на строительстве, понимает, что означают эти цифры.

Земляные работы не прекращались я тогда, когда сильные морозы сковали вязкую глиняную почву площадки. Экскаваторы задыхались на морозе, но каменную землю надо было во что бы то ни стало разломать. Комсомольцы объявили субботник. Дезертиров не было. Были энтузиасты, борцы. В густом морозном тумане комсомольцы начали колоть землю кайлами. Коченели ноги, обмерзали пальцы, но ни один боец не покинул фронта. На освещенной прожекторами площадке работали всю ночь. И победили мороз, стужу, победили упрямую Сибирь. На этом первом субботнике сделали 38 котлованов.

Ведущей фигурой на стройке в те дни был землекоп. Комсомолец, работавший в столовой, в кооперативе, в раздаточной, считал себя обойденным. Начальникам участков в то время поступали заявления: «Переведите на основные работы». Там, у котлованов, было трудно, но там была в борьба за великую идею прогресса, борьба, воплощенная в кубометрах земли, и то был героизм, о котором не знала молодежь моего поколения.

Большие стройки редко обходятся без аварий и несчастных случаев. Были они и на Кузнецкой площадке. Самая большая авария произошла на завале бункеров силосов на коксовом цехе. В силос с высоты 17 метров упало несколько человек и погибло. Я спустился в эту страшную могилу и увидел, что те, кто не был тяжело ранен, на чьих глазах совершился весь этот ужас, не только не поддались панике, но кинулись оказывать первую помощь пострадавшим. Исцарапанные, окровавленные, они не старались выйти первыми. О спасении собственной жизни и мысли не было. Они вытаскивали раненых и мертвых товарищей. Казалось бы, что катастрофа, которая совершается на глазах у людей, должна вселить панику и растерянность, но этого не было. Тут сказались огромное организующее воспитание коллектива. Далеко не все из них были храбрецами, но там, где шли вперед одни, не могли отступать и другие. Это так же, как на фронте, где героический пример одного ведет за собой массу бойцов.

Мне дали знать, что на скиповых ямах доменных печей произошел обвал. Придавило трех рабочих. Через несколько минут я был на месте катастрофы. Я увидел нескольких рабочих, кинувшихся спасать товарищей. Земля продолжала обваливаться, она придавила добровольцев. Но добровольцев было много. Своими телами они остановили низвергающуюся лавину земли. Своими телами люди защищали друг друга от смерти и в конце концов сумели вытащить всех. Я снова увидел: перед угрозой опасности не было растерянности, желания бежать, спастись самим.

Памятен вражеский поджог ТЭЦ. Это было в апреле 1931 года. Ночью загорелась временная деревянная стена ТЭЦ высотой в 45 метров. У основания пылавшей стены лежали котлы, турбины, и, если бы на них упал горящий кусок дерева, они взорвались бы. Все ясно поняли, что чудовищные силы, таящиеся в котлах турбины, взорвут окружающие здания и все, что находится вокруг. Но именно потому, что последствия были понятны всем, за тушение пожара вместе с пожарной бригадой взялись и рабочие.

Представьте себе пылающее на фоне темной весенней ночи здание; фигуры людей, то вырванные из мрака пламенем 45-метрового факела, то скрывающиеся в темноте; хриплые короткие приказания тех, кто в непосредственной близости от горящего здания наглотался дыма и опалил лицо. Наиболее действенным средством для тушения оказалась турбина. Насос, нагнетающий мощные струи воды, не был еще закончен. Насос не имел укрепления, его нужно было сделать на большой высоте.

Инженер Зарайский и с ним несколько слесарей полезли на крышу.

Крыша была не достроена и из-за дыма было легко проглядеть провалы. Люди могли

свалиться в котлы, которые каждую секунду грозили взорваться. И все же никто не покинул вахту у таивших разрушение и смерть котлов, пока пожар не был ликвидирован.

История многочисленных строек нашего Союза включает десятки и сотни таких подвигов. Это стало возможным только в стране, где труд является благом для всего народа, и героизм поэтому стал качеством не отдельных храбрецов, а явлением массовым.

Когда наши слесаря впервые увидели чертежи конструкции мартеновского и доменного цехов, у всех возник один вопрос: где взять такое количество людей, которое нужно для строительных работ на высоте 55 метров? Где взять таких людей, которые поднимутся по стропилам и на головокружительной пятидесятиметровой высоте будут собирать железные конструкции, несмотря на лютый ветер, стужу и ливень? Можно найти, думали мы, нескольких смельчаков, но ведь нужна целая армия?

За границей таких рабочих очень хорошо оплачивают и очень балуют. Я выписал для этой цели из Америки двух штейгеров-такелажников. Один из этих американцев — Хэлл — вскоре погиб из-за излишней бравады. Когда стали поднимать железную ферму на ЦЭС, он начал ухарски расхаживать под ней. Хэлла предупреждали об опасности, но он хотел показать русским, как может работать американец. Ферма опрокинулась и придавила его.

Другой американец был благоразумен, но кроме этого качества никакими талантами не обладал и к тому же был трусом. Остался один человек, который смог учить нашу молодежь такелажному делу. Это был Иван Андреевич Воронин.

У старого котельщика была вывихнута нижняя челюсть, но это не мешало ему быть всегда веселым. Надо! сказать, что до прихода на стройку старик совершенно не знал математики и ничего не понимал в вычислениях. Но, отличаясь природной сметливостью, уже через два года он накопил некоторые знания и работу свою делал без помощи инженеров, никогда не ошибаясь.

С ним то мы и начали учить нашу молодежь не бояться высоты. Через некоторое время у веселого учителя было столько учеников, что всем не хватало дела. Работы обошлись без единого несчастного случая.

Кто были эти ребята? Простые колхозники, сельская молодежь, комсомольцы, едва ли видевшие раньше дома выше четырех этажей. Теперь многие из них техники, а в будущем инженеры. Колхозник Роганов учится сейчас в Промышленной академии.

Роганов был исключительно смышленным парнем, его бригада быстро освоила самые трудные и срочные работы, как, например, кладка труб. Трубы надо было класть на высоте 80 метров. Ребята с песнями побеждали эту высоту.

Когда Иван Андреевич Воронин объявил о своем намерении поднять огромный наклонный мост не в разобранном виде, как это делается в всем мире, а целиком, чтобы этим сократить сроки, американские специалисты сдрейфили. Они написали мне пространную докладную записку, объявив, что снимают с себя всякую ответственность за последствия этого неслыханного технического проекта.

Первый мост был поднят методом Ивана Андреевича Воронина вместо месяца в течение... 34 часов. Второй - в течение 15 часов. После этого случая крупный специалист американец Глэнн заявил мне:

— Вы счастливый инженер, русские рабочие — лучшие рабочие в мире. О! Это замечательные ребята!

Подлинными героями первых кузнечных домен были опнеупорщики. Бригады Митина, Доронина, Легкова установили мировые рекорды кладки. Начав с кладки 1 тонны огнеупора на человека в смену, они добились кладки по 6 тонн.

Комсомольцы Волков и Огалько, разработав свой метод кладки, давали по 11 тонн в смену, а один Волков, работая на футеровке седьмого каупера, уложил за 8 часов 15 тонн огнеупора.

Чудеса трудового героизма показали женщины. Холод, плохие жилищные условия, забота о детях не могли ослабить энтузиазма женщин, увлеченных размахом строительства. Многие из них на стройке обрели самостоятельность, впервые почувствовав себя

равноправными с мужчинами, и это вознаграждало их за тяжелые условия первого периода строительства.

Я помню осень 1931 года. Четыре дня лил дождь. Двести женщин работали на подноске кирпича для кладки коксовых батарей. Сапог не хватало, они работали босиком, и все же никто не уходил после 8 часов работы. Делом чести было работать по 10—12 часов, чтобы не допустить перебоя в работе каменщиков.

В бригадах бетонщиков очень скоро стали работать женщины. Когда ударили пятидесяти градусные сибирские морозы, женские бригады бетонировщиц не приостановили работу, они поддерживали горение жаровен и не давали бетону замерзнуть, все время перевыполняя план.

Памятны первые дни пуска доменного и коксового цехов. Произошла авария. В одном колодце вырвало свинец из раструба. Нависла угроза остановки домны. Трое суток бригада проработала в воде, не останавливая перекачку.

Круглые сутки, днем и ночью, люди стучали молотками, рыли котлованы, лили бетон. Кладя кирпич за кирпичом, день за днем подымали все выше и выше трубы, домны, мартены. Это был труд тяжелый, но радостный, труд людей, которые знали, что трудятся они для счастья своего народа.

## *ГЛАВА XXI*

В конце марта произошло исключительное событие в моей жизни. Я был занят проектированием площадки для строительства вагонного завода. В это горячее время мне сообщили, что меня выдвигают кандидатом в Академию наук.

Я опешил. Никаких значительных научных трудов я в своей жизни не написал. Я был инженером-металлургом, инженером-практиком; я хорошо знал американскую технику металлургической промышленности и все свои знания использовал для того, чтобы построить в Сибири самый усовершенствованный, американского типа металлургический завод, Я представлял себе, что академик должен сидеть где-то в тиши кабинета, в лаборатории и писать большие тома, заниматься глубокими исследованиями. Я же постоянно находился на заводе, у домен, у мартенов, у горячего металла.

Весть о том, что наши общественные и партийные организации выставляют мою кандидатуру для баллотировки в члены Академии наук, сразу разрушили все привычные представления об академиках.

Я был очень тронут таким исключительным вниманием ко мне партийной и советской общественности.

Волнуясь и радуясь, я тем не менее думал: «право, какой же я академик, ведь никаких научных трудов я не имею». Сев в машину, мы поднялись на высокий холм. Оттуда хорошо была видна площадка. Отчетливо, на фоне синего мартовского неба, вырисовывались каупера, домны. Правей виднелись фермы мартеновского цеха, на площадке уже раскинулся большой действующий завод.

«Что ж, — подумал я, еще раз обзревая развернувшуюся перед глазами заводскую панораму, — это не только написано, но и построено, и это стоит многих научных трудов».

В апреле меня избрали в действительные члены Академии наук.

## *ГЛАВА XXII*

Многотысячная армия строителей, руководимая и направляемая единой волей партии большевиков, побеждала техническую отсталость. Один за другим вступали в строй агрегаты, и впервые люди подошли к управлению сложнейшими, мощными машинами. Многие из них, несмотря на то, что были старыми металлургами, не совсем ясно

представляли себе, что должны они делать у печей, каждая из которых должна была выплавлять чугуна столько, сколько в старой Юзовке давали четыре домны, вместе взятые.

Люди, еще вчера называвшие себя каменщиками, бетонщиками, такелажниками, сейчас должны были стать металлургами, доменщиками, сталеварами, прокатчиками — людьми сложнейших профессий.

В памятную апрельскую ночь, когда первая доменная печь должна была выдать первый сибирский чугун, никто на площадке не спал. Летку начали пробивать с вечера, и непрерывно звонил телефон: люди беспокойно справлялись — идет ли чугун. Кто-то распространил слух, что идет «козел», а не чугун. Слово «козел» — страшно неприятное для металлургов слово. Это значит, что все в печи пропало. Но, вопреки злорадным предсказаниям, чугун пошел хороший. Я увидел это сразу, и, когда этот чугун пошел в первый восьмидесятитонный ковш, беспокойство исчезло. И людей на площадке охватила радость. По кусочку, на память о своей победе они начали растаскивать этот чугун.

Но выдача первого чугуна не означала еще, что и впредь все пойдет благополучно. У нас было слишком мало опытных людей, квалифицированных доменщиков и сталеваров, чтобы надеяться, что процесс плавления металла будет точен, как часы.

Труднее всего процесс освоения протекал в доменном цехе. На первом этапе мы потеряли многих доменщиков. Некоторые из них дезертировали, потому что у них оказались слишком слабые нервы для преодоления всех неполадок. И, оглядываясь назад, я вижу весь проделанный путь более значительным и трудным, чем он казался мне в те дни. Я не вспомню, чтобы у меня в те дни возникало когда-либо чувство разочарования. Нет. Все время шло нарастание победного чувства.

Какую мощную картину торжества машины, торжества советской техники представлял доменный цех, все цеха нового гиганта! Какая это потрясающая красота, ради создания которой стоило жить и бороться! Чтобы понять величие этой красоты, нужно лишь представить себе механизацию на старых русских металлургических заводах. Руду там ссыпали в ямы. Летом, обливаясь кровью и потом, зимой, коченея от стужи, толкая большую железную тачку, рабочие-катали доставляли к подъемнику сырье для домн. Подъемник был единственным механизмом на старом заводе. Расплавленный чугун растекался огненными ручьями по песку. Металл заливали водой вручную, и в клубах пара нельзя было разглядеть рабочих, разламывающих чугунные чушки.

На нашем советском заводе механизирован весь процесс — не только загрузка, но и забивка летки и выдача чугуна. Огромные ковши развозят жидкий чугун к изложницам. Механизмы делают работу сотен человеческих рук. У тех агрегатов, где как на старой Юзовке, работало две тысячи человек, на новом заводе справляются триста.

Освоение этой новой техники шло не без жертв. Первый сюрприз нас ждал вскоре после пуска первой домны. Прорвало трубу. Между газоочисткой и печью хлынула вода. Вода била с такой силой, что в несколько минут оказались залитыми все колодцы, где находятся вентили. Переключить воду на запасный резервуар не представлялось возможным.

Причину аварии выяснили скоро. Труба оказалась сделанной «на пимах». (Пимы — это сибирская обувь! Сибиряки имеют дурную привычку оставлять ее в самых неподходящих местах. Так возникла, определяя всякую строительную небрежность, поговорка «сработано на пимах».)

Не найдя настоящего тройника, строители обошлись самодельным. В результате получилась авария.

В первые дни пуска многое приходилось переделывать. Мы учились на собственных ошибках. Но в те разговаривать, дискуссировать времени не было. Решение могло быть одно — действовать немедленно. Авария на домне произошла в апреле, стояли сильные морозы. Рабочий Новиков молча снял рубашку и полез в колодец. Он был могучий парень, бывший моряк. Коченея в ледяной воде и захлебываясь, он закрыл вентили и пустил воду другим путем.

Печь все же пришлось остановить, так как газоочистка была залита водой. Об

остановке печи знало очень немного людей. Остановку маскировал пар, который мы пустили с центральной электрической станции. Пар был очень похож на тот, который выходит при работе доменной печи. Не создавать паники было первейшим нашим девизом. Я был крепко защищен от этого чувства, я знал, что авария, хотя и тяжела, но поправима.

В Кузнецке осуществлялось строительство наиболее совершенного в мировой металлургической промышленности гигантского завода. Мы осваивали сложнейшую работу. Но, поставив без единой аварии восьмидесятиметровые мартеновские трубы, сократив в тридцать раз срок поднятия разборного крана, мы могли пропустить укладку фундамента «на пимах». В результате, доменная печь села на 200 миллиметров. Это вызвало серьезные последствия. Через 8 месяцев нам пришлось понижать желоба, устраивать их на новой глубине, делать новые уклоны.

Неизведанной областью, где мы, как слепые котята, тыкались в разные стороны, был для нас вопрос использования материалов в таких больших количествах. Победили мы не благодаря имевшимся готовым знаниям, а только благодаря упорству. Вопрос использования и применения кокса, оказалось, был наиболее исследованным. Старые наши сведения о коксующихся углях говорили о том, что кемеровский кокс будет безусловно хорош, что с этим коксом мы будем делать чудеса. Но то, что хорошо получается в колбе, в пробирке, не всегда получается хорошо в большом масштабе, потому что разница между пластовыми пробами угля и вагонными, эстакадными пробами, очень большая. Осложняло дело и то, что расположенные рядом с заводом рудники Осиновский и Араличевский не были готовы. Мы принуждены были пользоваться неопробованными углями Прокофьевской шахты. Надо было освоить их шихтовку. Выяснили, что уголь этот спекается, что качество его зависит от того, из каких пластов он взят, насколько сильно окислен, близко или далеко берут его от поверхности.

Донбассовский опыт нам не помог. В Донбассе уголь коксуется один. Здесь же нужна была смесь. Но неправильная смесь плохо сказывается на качестве кокса, и поэтому мы получали такой кокс, который ни «в одни ворота не лез». Печь громыхала, появлялись осадки, огромное количество пыли, горели фурмы.

Кокс был плохой. На этом все мнения сходились, но и на нем можно было работать, если бороться, а не бежать от работы.

Неприятностей в первый период освоения было много. При очень холодной зиме, в недоделанном, неотопленном здании углеподготовки уголь при дроблении превращался в пыль. Люди из-за пыли не видели друг друга на расстоянии шага. Два раза в сутки приходилось очищать приборы.

С наступлением весны и благодаря самоотверженной работе людей в лаборатории положение с шихтой улучшилось.

На коксовых печах у нас в то время стоял старый мастер Волошин, проработавший 15 лет на Южном бельгийском заводе. Он умел строго держать определенный режим в печах. Печи не газовали, не загрифичались. Дисциплина у него была железная, и от молодых инженеров он требовал беспрекословного подчинения.

Но одновременно с достоинством опытного практика у Волошина было дин крупный недостаток: он вел себя, как кудесник — обладатель тайны, которую никому не хотел доверить и передать. Это было типичной чертой специалиста, воспитанного на капиталистическом предприятии, боявшегося конкуренции и оборонявшегося таким образом от угрозы безработицы.

Нам нужна была целая армия педагогов, а их у нас не было. Учиться нам пришлось на манер того мальчика, который не умел плавать и, несмотря на это, был сброшен в самом глубоком месте реки. Наглотавшись воды, мальчик выплыл.

Выплыли и мы с бывшими землекопами и каменщиками, сразу поставленными у сложнейших машин и агрегатов.

Партийная организация площадки, серьезно взявшись за воспитание людей, возглавила движение за учебу. Начался небывалый штурм знаний, атака задач и

математических формул. Вчерашние землекопы и каменщики учились грамоте, учились читать книжки, чтобы научиться затем познавать душу машины. Политические дисциплины помогали рабочим уяснять грандиозные задачи великой социалистической индустриализации. Учились жадно, ибо каждый день давал людям чувствовать реальную пользу полученных знаний

Десятки тысяч людей впитывали в себя знания, как мудрость, как откровение, внезапно открывавшее им глаза на мир; они глотали книги, изучали формулы, задачи как средство, дающее им силу, указывающее им путь победы, ведущее их к счастливой, радостной жизни, полной смысла, борьбы и интереса.

Значительность сибирского гиганта не в том только, что по своим масштабам, по смелости подхода к решению технических задач это — шаг, который не делала и не знала ни одна промышленность мира. Все, что совершалось на строительной площадке в Кузнецке, как и на всех новостройках сталинских пятилеток, войдет в историю, как удивительный пример, когда масса людей вместе с преобразованием техники преобразовала свою жизнь, когда людская масса благодаря усилиям и воле ленинско-сталинской партии начала величественную борьбу за новую советскую культуру, основанную на высокой передовой советской технике.

### *ГЛАВА XXIII*

Основная роль в строительстве сибирского гиганта принадлежала Серго Орджоникидзе. Он был его душой. Если строительство нуждалось в помощи, мы, прежде всего, обращались к нашему славному любимому наркому. Если нужно было поднять моральный дух армии строителей на кузнецкой площадке, всегда в нужный момент телеграф приносил несколько ободряющих, теплых, самых нужных слов исключительной моральной силы.

«Волею партии, волею советского народа вы создаете на площадке прочную базу социалистической индустрии», часто напоминал нам Серго, и то была организующая идея неимоверной героической борьбы, которую вели с таким напряжением воли десятки тысяч строителей в таежной суровой Сибири.

Мы называли его «наш Серго». Мы говорили о нем восхищенно: «наш командарм». Он и в самом деле был полководцем — сначала красноармейских легионов, а затем великой трудовой армии шахтеров и слесарей, химиков и металлургов.

Командарм Серго был горячо любим своей армией, и то была любовь, основанная на глубоком к нему уважении.

Когда Серго был назначен руководителем ВСНХ, металлургические заводы, в особенности южные, переживали много затруднений. Они не вылезали из прорыва, руководство строительством и производством стояло на низком уровне. Страна требовала металла, но промышленность не удовлетворяла этих требований. В то время шло крупнейшее строительство на юге и в Урало-Кузнецкой части Советского Союза, и без достаточного количества железа и стали новостройки находились под угрозой срыва.

Благодаря удивительному умению Серго командовать, производить маневрирование с людьми, с рабочими и инженерно-техническим персоналом, благодаря его особенному умению замечать, выдвигать людей и организовывать их, производство чугуна и стали начало резко повышаться, и уже в конце 1931 года советская металлургия оставила далеко позади уровень довоенной России.

Горячей любовью любили Серго партийные и беспартийные, старые и молодые, рабочие и инженеры. Каждого человека он встречал с доверием, но верил ему до тех пор, пока видел, что ему говорят правду. Достаточно было малейшего сомнения, чтобы Серго коренным образом менял отношение к таким людям. С другой стороны, если он видел, что люди работали хорошо, безраздельно отдавали себя производству, — Серго входил

буквально в каждую мелочь их жизни.

Характерный пример. Опытный, старый инженер, проработав незначительное время на стройке, тяжело заболел. По состоянию здоровья он должен был оставить стройку немедленно. Но его не отпускали с работы. Инженер обратился за помощью к Серго. Его вызвали в Москву, Серго принял инженера и, узнав о тяжелом характере заболевания, дал ему возможность в течение двух лет лечиться. То был беспартийный старый инженер, лично Серго неизвестный. Но нарком знал его по отличной работе. Этого было достаточно, чтобы Серго проявил к такому человеку совершенно исключительную чуткость.

Сотни рабочих, инженеров, стахановцев, мастеров могут также помнить, что Серго сделал для каждого из них: написал ли дружеское письмо, дал ли путевку, отправил ли учиться. Это было в натуре Серго — он любил всех видеть счастливыми. Внутреннее содержание, а не звание и чин, работа и желание беззаветно трудиться для счастья советского народа — вот что было его главным критерием для оценки человека.

Близость его к работникам металлургии была исключительной. Он знал в лицо уйму людей, с бесчисленным количеством металлургов Серго переписывался, разговаривал. Любой мастер или инженер, приехавший в Москву с новостройки, мог побеседовать с наркомом.

Серго был решителен и смел во всем, что касалось развития металлургии. Достаточно было какому-нибудь инженеру рассказать о новой идее, о каких-нибудь новых мероприятиях, способных увеличить производительность, и Серго немедленно принимался за дело.

Припоминается, с каким энтузиазмом Серго откликнулся на призыв товарища Сталина к отечественным машиностроительным заводам обеспечить всеми видами оборудования нашу промышленность. Надо сказать, что в тот момент машиностроительная промышленность во многом не могла ответить на те вопросы, которые поставил перед ней товарищ Сталин. Серго вселил в нас смелость, уверенность в наших силах, и в результате эта проблема в настоящее время разрешена во всех направлениях. Он первый обратил внимание на предложение о кислородном дутье в доменных печах и двинул его осуществление с максимальной скоростью. Именно Серго приступил к проведению в большом масштабе практических работ в области производства и использования газа в металлургическом цикле.

Доменные печи, мартены, блюминги, прокат, заводы максимальной мощности быстро строились и легко осваивались именно потому, что во главе этой стройки стоял командарм Серго.

Серго был нашей совестью. Чтобы мы ни делали, внутренний голос всегда спрашивал: «А что об этом скажет Серго?». Если что-нибудь у нас не ладилось, если надо было что-нибудь проверить, разрешить сомнения, — мы всегда стремились пойти к Серго, поговорить с ним и всегда получали нужный, ясный ответ.

Он не любил нытиков, не терпел очковтирателей. Приезжая на завод, он первым делом стремился узнать, насколько действительное положение соответствует тому, что ему рассказывают.

Однажды Серго приехал в Сталино (Донбасс). Завод был загрязнен страшно, работал плохо, показывать наркому было нечего. Единственно, что выглядело прилично, это будки с газированной водой для работающих в горячих цехах... Сопровождавший Серго руководящий работник завода решил отыгаться на этих будках, отвлекая внимание наркома от основных зол производства. Серго хмурился, хмурился и, наконец, спросил:

— Скажите, чем вы раньше занимались?

— Да я в металлургии, собственно, недавно, — смутился руководящий работник завода.

— То-то, я вижу, — заметил Серго. — Будки с содовой водой вы организовали неплохо, вам, пожалуй, и нужно трудиться в этой области. Я об этом позабочусь.

Серго не знал ни дня ни ночи в работе. Когда я работал в Сибири, обычно в 2—3—4 часа ночи раздавался телефонный звонок. Это вызывал нас Серго. Его интересовала работа

завода. Вспоминается ужасная зима 1933 года. Доменные печи замерзали, мартены и прокат еле-еле дышали. И Магнитка и Кузнецк работали отвратительно. У маловеров создавалось впечатление, что каждую зиму мы неизбежно будем стоять и только летом будем работать. Раздавался шепот, что вот, мол, понастроили заводы, а работать они только могут незначительный отрезок времени, техника, мол, американская, а климат русский, сибирский. Об этих разговорах знал и Серго.

Почти каждую ночь мне приходилось докладывать ему по телефону о тяжелом положении завода. Несмотря на совершенно неутешительные сведения, которые он получал, Серго говорил, не повышая голоса, не выходя из себя. Чувствовалось, что ему это очень тяжело и неприятно, но тем не менее, зная, что люди на месте работают, изо всех сил стараются сделать все, что могут, чтобы поправить дело, чтобы вывести завод из прорыва, он сдержанно ободрял нас:

— Смотрите только, — твердил он, — чтобы не были погублены печи. Надеемся на молодежь, на энтузиазм советских людей, сделайте еще несколько усилий, и все пойдет хорошо, благополучно. Положите конец недопустимым разговорам о невозможности работать зимой в Сибири.

Он горячо интересовался новинками мировой техники, и большинство командированных за границу инженеров до и после поездки обязательно беседовали с наркомом. Помню, когда в 1936 году я приехал из Америки, Серго долго беседовал со мной у себя в кабинете, а потом попросил еще приехать к нему на дачу. Приветливо улыбаясь, он встретил меня у себя и потребовал от меня подробного отчета о работе всех заводов, на которых мне удалось побывать в Америке. «Лучше или хуже, чем наши, оборудованы американские заводы, — спрашивал Серго, — чище ли эти заводы, какое количество людей работает на том или ином предприятии, как расставлены люди у агрегатов, какова организация труда, каково качество металла?» Его интересовало все. При упоминании о том, что наши заводы оборудованы не хуже американских, по блеску его глаз было видно, что ему это очень приятно. Но те же глаза выражали неудовольствие, загорались гневом, когда он узнавал, что некоторые наши заводы грязнее американских, завалены ненужным хламом, что очень часто материалы валяются под ногами, а в Америке все то, что не относится к работе, — убрано в нужное место. У Серго было горячее желание, чтобы советские заводы были во всех отношениях не только не хуже, а лучше зарубежных, чтобы все, что мы строим, было построено красивей, лучше. Он не мог допустить, чтобы советские заводы были построены хуже зарубежных.

Серго был человеком больших масштабов. Это был командир в полном смысле этого слова. Командир, который был всегда впереди. Он терпеть не мог дезертиров или людей, уклоняющихся от прямого ответа. Как истинный командир, он не любил слепого подчинения. Он требовал подчинения продуманного, сознательного, чтобы прежде, чем подчиниться человек высказал свое личное мнение по данному вопросу. При обсуждениях проектов строительства Серго внимательно выслушивал самые противоположные точки зрения о том, как лучше, быстрее и рациональнее осуществить строительство. Но Серго всегда умел с большим тактом настаивать на своем. И никакого плохого осадка у людей, ведущих с ним работу, никогда не оставалось.

Когда Серго приезжал на завод, он прежде всего любил поговорить с рабочими у станка, у печи, вслушиваясь и вникая в их рассуждения, детально расспрашивая их о работе, о зарплатке, обо всем том, что занимало их умы и волновало сердца. Он стоял бесконечно близко к массе рабочих, мастеров и инженеров.

Благодаря тесной связи со своей трудовой армией, Серго вместе с товарищем Сталиным был одним из вдохновителей стахановского движения. Он подхватил это замечательное движение рабочего класса с обычной для него горячностью и в течение нескольких месяцев поднял его на большую высоту, показав всей стране и всему миру, что оно означает.

На примере стахановской работы Серго показал, что высокая социалистическая

производительность труда — это главное доказательство преимущества советской системы народного хозяйства перед системой капиталистической. «Стахановцы — это наша непобедимая молодость, — сказал он мне однажды, — это зачатки могучей силы, которая разольется широкой волной и победит капиталистическую производительность. И вам, инженерам, представителям науки, необходимо прийти на помощь партии и возглавить это движение, дать ему нужный, научно-организационный толчок».

Его горячая вера в неисчерпаемые творческие силы народа, в могущество нашего строя, в нашу счастливую действительность и еще более в замечательное будущее заражала нас энтузиазмом, желанием много и страстно работать, сообщала нам молодость и силу. Он подымал нас своей особенной живостью. Медленный в своих движениях из-за тяжелой болезни, Серго обладал совсем иной живостью. То была сверкающая живость глаз, живость большого светлого ума, живость богатого языка. Всем своим внешним обликом Серго выражал неувядаемую молодость, и только чуть пробивающаяся седина выдавала его пятьдесят лет. То была молодость, свойственная людям, глубоко убежденным, согреваемым великой идеей, которую они носят в своем сердце.

Запомнилось одно научно-техническое заседание с участием Серго незадолго перед его смертью. У него был землистый цвет лица, было видно, что он чувствует себя очень плохо, что ему тяжело работать. В тот день хоронили какого-то видного работника. «Смерть — это диалектический закон природы, — заметил Серго, — я верю в жизнь, и пока человек жив, он должен бороться за утверждение жизни и ударам судьбы противопоставлять свою силу, свою волю, свои убеждения». Командарму Серго было чуждо малодушие.

И он пережил свою смерть, как переживает ее великий полководец, дела и слава которого не умирают.

#### ГЛАВА XXIV

Ночью 18 декабря 1934 года меня разбудил телефонный звонок. Я услышал знакомый голос секретаря партийного комитета.

— Не случилось ли чего-нибудь серьезного на заводе? — встревожился я. Работа у домен, у мартенов, у расплавленного металла всегда сопряжена со всякими неожиданностями, каждую минуту может случиться авария, катастрофа.

— Нет, на заводе все в порядке, — успокоил меня секретарь парткома. — Я получил интересную телеграмму. Нас удостоили великой чести, пригласив на встречу металлургов с товарищем Сталиным. Вам необходимо немедленно выехать в Москву.

Я выехал в то же утро.

В пути мне вспомнилось, как пять лет назад я отправлялся с поручением Куйбышева из Москвы в Сибирь строить Кузнецкий завод.

Я смотрел из окна вагона на однообразный пейзаж, но он не надоедал мне.

- Знаете, — обратился я к своему спутнику, — пейзаж представляется мне иным — таким, каким он будет через несколько лет.

В руках у меня была кожаная записная книжка. Она отличалась от большинства таких же блокнотов тем, что все записи в ней были сделаны на языке цифр. Но цифры при расшифровке превращались для меня в увлекательнейший рассказ.

И я увлекся, глядя на эти цифры. Я начал рассказывать своему спутнику, крупному партийному работнику:

— Наступление на занесенный снегом край мы начнем с запада. Кузнецкий промышленный комплекс явится главнейшим опорным пунктом Урало-Кузнецкого комбината, одновременно он будет центром тяжелой промышленности в южной части Западной Сибири. Это не прожектерство. Доказательства следующие: Кузнецк — это величайшая в СССР каменноугольная база, железная руда находится здесь на расстоянии 100—300 километров. В самом ближайшем будущем надо ожидать открытия новых

железородных месторождений. В Горной Шории и Хакасии находится ценнейший металл — титан-магнитит.

На Алтае, в Хакасии и в Горной Шории есть золото, серебро, медь, цинк, свинец; в южной части Западной Сибири есть все, необходимое для металлургии, машиностроения и промышленности строительных материалов. Все эти богатства царское правительство, как гоголевский Плюшкин, держало в ледяных подвалах Сибири, обрекая на голод и холод миллионы людей. Теперь все это уже в прошлом. В Сибирь идут большевики. Мощные водяные артерии — Енисей, Томь, Иртыш — превратятся в неисчерпаемые источники электроэнергии; лесные массивы вдоль сплавных рек дадут древесину для топлива и лесохимической промышленности.

Через несколько лет Сибирский край будет исчерчен стальными линиями железнодорожных путей. Будущий Кузнецкий металлургический завод даст стране столько металла, сколько давали все заводы царской России.

Пройдет не больше пяти-десяти лет, и в тайге вырастут города. Уголь, металл и вода дадут жизнь краю. К услугам людей появятся новые средства сообщения. В городе заговорит радио, световые рекламы сообщат о театральных постановках и новых фильмах. Металлургический завод, рассчитанный на пятьдесят лет работы, потребует школ и университетов для детей рабочих; здесь будут больницы и дома отдыха, фабрики, здесь расцветет мощный индустриальный край с трехмиллионным населением. Вот что значат эти цифры!

Я захлопнул книжку:

— Вы понимаете теперь, почему мне не надоедает смотреть в окно. Там, где вы видите тайгу или голую степь, я уже вижу трубы мартена, угольные башни над батареями коксовых печей, широкие магистрали нового города.

— Вы не инженер, вы — поэт, — заметил, смеясь, мой спутник. — А впрочем, вдохновение давно перестало быть уделом одних лишь поэтов в нашей стране.

...Прошло всего лишь пять лет, и я еду уже из Сибири в Москву. Я смотрю из окна вагона на пробегающий мимо меня ландшафт. Как изменилась за это время география края, как не узнаваем стал пейзаж страны. Это уже не занесенные снегом края, это цветущие колхозные поля, где новая жизнь бьет ключом.

Наконец, я приехал в Москву. 26 декабря вечером состоялась историческая встреча металлургов с товарищем Сталиным.

Я вошел в зал заседаний Политбюро, где нас должен был принять товарищ Сталин.

Просторный, светлый, круглый зал сверкал чистотой. Он был обставлен просто, со строгим вкусом.

Никого из руководителей партии и правительства в зале еще не было, и в ожидании начала совещания металлурги вели между собой веселую и непринужденную беседу, подтрунивая друг над другом, смеялись и балагурили. Затем мы с товарищами обсудили и порешили: кому-нибудь из металлургов надо будет выступить с приветствием товарищу Сталину. Товарищи выдвинули мою кандидатуру.

Я растерялся. Выступать перед товарищем Сталиным, перед руководителями партии и правительства — высокая честь и большая ответственность.

Передо мной вдруг прошли 17 лет работы в черной металлургии при советской власти. Все эти годы, шаг за шагом менялась моя жизнь, менялось мировоззрение. Меня, инженера, убеждали факты. А факты советской действительности были поистине поразительны. Вот годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства, годы реконструкции страны, индустриализации, пятилетки социалистического строительства, коллективизация. Строительство Магнитки, Кузнецка — какой последовательный и смелый скачок, какие грандиозные этапы преобразования страны. И этот путь страна прошла под руководством товарища Сталина и большевистской партии.

Сталин!.. В зале на мгновение стало тихо. Но потом раздались восторженные аплодисменты. Вошел Сталин, за ним Молотов, Орджоникидзе. В своей обычной, простой

одежде, в сапогах и глухо застегнутой куртке, Сталин шел, улыбаясь, дружески и приветливо кивая присутствующим.

Когда буря восторгов улеглась, Серго дал мне слово. У меня учащенно забилось сердце. Я встал и начал говорить прерывающимся от волнения голосом.

Я оглядел людей в зале и посмотрел на товарища Сталина. Он слушал меня. Это придало мне бодрость, постепенно я успокоился, мысли прояснились.

Я поздравил товарища Сталина и партию с большой политической победой — выплавкой 10 миллионов тонн чугуна в первой пятилетке. Я вспомнил Сибирь, тайгу, куда пришли большевики, чтобы взорвать веками слежавшуюся землю, чтобы построить на этой земле оснащенный самой передовой техникой мировой металлургической гигант.

Я говорил о том, что под руководством товарища Сталина и большевистской партии страна неузнаваемо преобразуется, меняются люди.

Конечно, говорил я все это не так гладко. Все время назойливо сверлила мысль — складно ли я говорю и то ли, что нужно? Когда я сел на свое место, я стал искать ответы на эти вопросы у сидящих рядом товарищей.

Но вот поднялся товарищ Сталин. Тихим, но внятнм голосом он начал свою речь с того, что я не прав, полагая, что партия одна могла провести все гигантское социалистическое строительство. В этой работе вместе с партией участвовали и беспартийные, и старые специалисты, и многомиллионная армия рабочих, колхозников. Партия сумела организовать этих людей и правильно ими руководить.

Впервые мне довелось слышать товарища Сталина, видеть его лицом к лицу. Я был покорен мудрой простотой и лаконичностью его речи. Каждое слово, каждая фраза были чеканны, ясны.

Когда мы прощались с товарищем Сталиным и его ближайшими соратниками, настроение у всех было приподнятое, радостное, возбужденное.

Мы вышли из Кремля. Была глубокая ночь. Москва была погружена в сон, но мне не хотелось спать. Я был под впечатлением встречи с великим человеком и долго стоял на Красной площади и смотрел на Кремль, где он живет и работает.